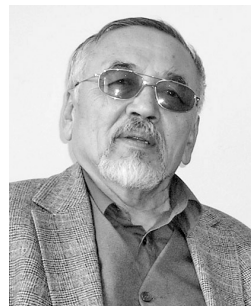


Калихан
Искаков



ЛЕГЕНДА О ЗЕМЛЕ БЕЛОВОДЬЕ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава седьмая

1

– Итак, товарищи! Трехсторонние переговоры между лесхозом, леспромхозом и калымщиками продолжаются!..

– А может, хватит паясничать? Оставьте Бескемпиру все его хохмы. И без того голова идет кругом!.. – Абдижапар поморщился, как от зубной боли.

– Говорят, вывих в суставе не заразен. А вывих в мозгах как эпидемия, – вынужден был отшутиться Бекет.

Он удивился, что этот невзрачный человечешка, по которому давно тюрьма плачет, пользовался уважением. Но опять же не зря говорят: за собакой присматривает хозяин, за волком – сам Господь Бог. Ну, Бог не Бог, а волосатая лапа, что надела на него ошейник, есть наверняка. А раз надела, значит, и ведет его на поводке. Надо, надо было раньше проследить, откуда тянется тот поводок...

– Сан Саныч, вам слово.

Сказано это было по-русски, на что Абдижапар опять покривился:

– Да у него макушка с дыркой¹, даром что кержак. Ты ему по-казахски говоришь, а он тебе по-калмыцки отвечает.

– А разбойнику что? С ним хоть на каком языке говори – всё одно! – усмехнулся Сан Саныч, поглаживая свое просторное лицо, обросшее сивой бородкой. – В воровском деле что «здравствуй», что «мать-перемать», без разницы.

– Вот-вот. Ты готов на тот свет человека отправить, лишь бы штраф с него сдернуть.

– Ну, это не про тебя. Горбатого могила исправит, тебя – нет. Разве что – тюрьма...

Продолжение. Начало в №8, 9, 2023.

¹ Буквальный перевод идиомы «Төбесі тесік». Смысл: «Ушлый, всё знает».



– Руки коротки!

– А у тебя длинные. Тебя по ним не ударить,пустишь всю тайгу под топор.

Сигат, казалось, дремал, покусывая иголочку арчи. Но тут он очнулся:

– Сколько можно, а? Переливать из пустого в порожнее.

– Так это ж подсудное дело, Саке!

– Пусть суд и решает. Ты этого хочешь, а? – Сигат подвинул ближе к Абдижапару карту лесхоза, лежавшую на столе. – Тут даже специалист тебе скажет: дела твои – табак. И думай не думай, а придется тебе очищать Жындысай от пней и завалов. Сколько там квадратных километров? Двадцать. Так что давай подобру-поздорову подсчитаем, сколько у тебя пойдет сюда денег и трудозатрат. Но это не всё. После расчистки ты на тех двадцати километрах посадишь саженцы. Заметь, своими силами. И на свои денежки.

– Это кроме штрафа, – с другой стороны припер к стенке Абдижапара Сан Саных. – За порубку не доросшего до стандарта леса. Десяти тысяч кубов!..

Сигат, почувствовав, что его поклажа уже не перевалится на другой бок, сколько б он не навьючивал ею этого попавшего впросак коня, заговорил как царь, от которого всецело зависит судьба нашкодившего прохиндея:

– Ты не знал, что лес наш недавно перевели в первую категорию. Значит, ты знал, что запрещена теперь и выборочная заготовка леса – тем более для промышленных нужд! Но несмотря на то, что фонд исчерпан, ты продолжал стричь тайгу под гребенку. Тебе стоит увидеть иглу, годную в зубах ковырять, ты ее срубишь! Так что передо мной у тебя не только спина – у тебя задница голая. А ну-ка дам я делу ход? Какое место суду ты подставишь?

– Если воля твоя, Саке, пристраивай меня в то теплое местечко. Но леспромхоз тогда закрыть придется насовсем.

– А вот это не мне решать. И не тебе. Есть инстанции, они разберутся. Но пока леспромхоз не закрыли, ты временно будешь работать на нас. И выполнять ты будешь наш сезонный план...

– Ничего не пойму! То вы меня пугаете, что нет делянок, то заставляете работать на себя. Вы ясно можете сказать? Чего вам от меня нужно?

В морщинах, маленькое, с кулачок, лицо Абдижапара жалось, как мошонка кастрированного барана. Закисшими глазами, в которых затаился страх попавшего в капкан зверька, он с ненавистью и мольбой смотрел на Сигата.

Сигат знал, что если хорошенько попинать Абдижапара, то его можно как футбольный мяч загнать в любые ворота. Но с этим он не торопился, решил по-валять его подольше, чтобы не было осечки.

– У тебя сколько лесопунктов? Пять? Да приплюсуем к ним кочующих калымщиков...

– Дались вам эти калымщики! От них как от козла молока... Вот он сидит перед вами, – Абдижапар зло кивнул на Бекета. – Семь лет я кормил его хлебом-солью. Семь лет!.. А он в результате кем оказался? Шпионом!..

– Он оказался хозяином леса! – важно поправил его Сигат, не оставляя Бекета без прикрытия. – Вот вместе с этими калымщиками всех лесорубов перебросишь в Аюлы. Там лес заражен грибок. Его надо вырубить. Лесхоз в этом заинтересован. Да и ты, я думаю, свой куш сорвешь, не подавишься.

И хотя ясно было – Абдижапару некуда деваться, но теперь он решил покуражиться, чтобы ему поклонялись:

– Ваш Аюлы мне никак не подходит. Во-первых, листвяк не перегонишь плодами. Чтобы листвяк перевезти, нужен транспорт, нужны люди, нужны средства. А кто мне их даст – Пушкин? Или покойный отец с того света поможет?

– Не богохульствуй. Дела Жындысая лесхоз берет на себя. А средства, необходимые для этого, обязан выделить сам леспромхоз. Да, и не будем сбрасывать со счета штраф, который мы вам можем предъявить. А это кругленькая сумма. Вот и потрать ее на Аюлы. И голову ломать не надо, откуда брать фонд заработной платы для рабочих...

– Ловко! Вы одним ходом съедаете две пешки и в дамки выходите. А я? Мне отвечать головой. Ведь нынче как? Скажешь правду – за решетку посадят. Соврешь – всё одно под суд.

– Боишься, значит?.. Ну-ну, смотри – не прогадай. Мне взять тебя за жабры никогда не поздно.

– Ты, значит, так? Или ишак сдохнет, или хан помрет.

– Угу. Или твой леспрохоз сдохнет, или я помру.

– Фу-у, голова кругом идет! Перекусить, что ли, а то уже ничего не соображаю...

Есенкуль! Эй, Есенкуль!..

Но на его призыв никто и не подумал объявиться. Абдижапар, поерзав на своем скрипучем троне, сделал вид, будто ему невоготу от едкого табачного дыма, Сан Саныч курил непрерывно, будто и в самом деле хотел всех выкурить. Абдижапар дотачился до двери, приоткрыл ее. Изжелта седые волосы Сигата казались снежной шапкой, застывшей на пне, и сам Сигат сидел как тот пень, который бульдозером не сдвинешь с места. Абдижапар знал негибимость упрямого серэ. Если он вошел клином в какую-то щель, остановить его уже ничего не сможет. И когда Сигат пошевелился, сделав произвольное движение, Абдижапар струхнул, что тот уйдет и дела уже ничем не поправишь. Нет-нет, надо принять все меры, чтобы остановить его, удержать.

– Есенкуль!.. Эй, Есенкуль!.. Что за песье отродье...

Именно тут он и появился, словно бы откликаясь на ласковый призыв хозяина.

Судя по его масляным глазкам, он успел уже принять дозу.

– Я что тебе велел? – взял его в оборот хозяин.

– Да всё уже готово, Абеке! Я быстрее не мог! – затараторил он. – Я и мальчик на подхвате, что смолит голову, я и баба, что кишки промывает, я и...

– Ладно оправдываться. У тебя как у нерадивой хозяйки: есть чего слушать, да нечего кушать... – и Абдижапар, чтоб оттянуть время и получше обмозговать ситуацию, потащил всех к дастархану. – Пора заморить червячка.

Дом Абдижапара стоял с конторой бок о бок, впритык. Это было холостяцкое логово, в котором витал дух запустения. Хоть бы собака тявкнула из подворотни! Вместо нее, скуля несмазанными петлями, их встретили разошедшиеся ворота, которые, видать, напугала толпа в шесть мужиков: ворота взвизгнули и словно бы поджали хвост... Считается, что любой маломальский начальник держит на все случаи жизни два карандаша – синий и красный. У Абдижапара в роли красного и синего карандаша служил Есенкуль: по нему сразу видно, какой из карандашей начальство пустило в ход. Начальство добродушно – и Есенкуль невозмутим, его с места не сдвинешь. А чуть начальство прищипнуло, Есенкуль носится так, что пятки сверкают. Вдвоем с молодой, не лишенной приятности женщиной они вмиг проветрили дом, изгнав нежилой дух, соорудили дастархан. Абдижапар

специально ради такого случая выставил дорогую посуду – хрусталь, серебро с мельхиором. Однако Сигат смотрел не на посуду, а на смазливую молодайку, что порхала по дому.

Заметив, что гость краем глаза следит за каждым ее движением, Абдижапар решил прикрыть дверь своего сарая:

– Это моя сноха, – сделал он первое предупреждение. – Я ее секретаршей к себе пристроил. По-родственному. Чтоб не болталась без дела.

Сигат пропустил это мимо ушей.

– Брат мой младший... Это его жена. А брат плоты гоняет. Не сегодня-завтра явится, – сделал он второе предупреждение. И, чтобы лишить гостя всяких надежд, спросил елейным голосом: – Светик-сношенька, какие вести от него?

Это был его тактический просчет. Она тут же дала ему отлуп:

– Почему мне знать?! Носит где-то нелегкая. Мне он без интереса.

Это был ее намек гостю. Дескать, плоты плотами, а фарватер на реке жизни свободен и никем не занят.

Абдижапар поморщился, вспомнив про свою зубную боль, и занялся бутылкой.

Толкнув дверь рукояткой кнута, в дом ввалился высокий старик. Он был явно не в себе, какие-то события его личной жизни вышибли старика из колеи.

– Веселишься, сучий потрох! – он говорил так, будто застал Абдижапара на месте преступления.

– Веселюсь. А ты что... с цепи сорвался? Токал, что ли, сбежала?

– Хуже!

– Хуже не бывает, – не согласился Абдижапар.

– Вы гляньте на него! – взвился старик. – У меня беда, а ему – хиханьки.

– Ты толком говори: беда какая? Корову увели?

– Дочь сбежала!..

– Ну и что?

– Да пойми ты, сучий твой потрох: дочь сбежала!..

– Слушай, что ты вопишь? Будто знамя Барака¹ поднял... Приспичило, вот и сбежала. Да ты рад без памяти, что от нее избавился. Или что – догонять будешь, требовать выкуп?

– Что ты мелешь? Она сбежала с одним из твоих бородачей. Понимаешь? С одним из бродяжек.

И старик, как рассохшаяся телега, прогромыхал чуть ли не в передний угол, плюхнулся на стул перед Абдижапаром. Вдобавок ко всему он кинул на стол свою лохматую шапку и расстегнулся, чтоб не было жарко. Вид у него был надменный, как у ирокеза, который пришел говорить от имени целого племени. Причем он уже смекнул, что стол накрывают, что будет закуска и выпивка, и что неплохо было бы перед погоней подкрепить свой пошатнувшийся дух.

– Эй, эй! Айда отсюда, – Абдижапар не собирался церемониться с потерпевшим. – У меня руки не достают, чтобы свои болячки почесать, а тут еще ты встречаешь.

– Да ты... я человека потерял!

– Человек не скотина. Сам найдется. А ты вместо того, чтобы лежать дома у огонька и греть свои старые кости, вваливаешься без предупреждения, не даешь людям поесть...

¹ Полководец, который освободил земли Алтая из-под власти Циньской империи.

– А ты дровами меня обеспечил, чтоб я лежал у огня? – огрызнулся старик, но шапку взял со стола. – Я уж который год прошу у тебя десять кубометров теса...

– Не морочь мне голову! Какие дрова? Какой тес? Мой племенной жеребец покрыл твою кобылу? Чего молчишь? Ты мне заплатил хоть копейку за это?

– Тебе – платить? – старик застегнулся. – Да я твоего ишака две недели вареным овсом откармливал, еле поднял его за уши. Ты спасибо за это скажи.

Он надоед Абдижапару. Но, зная, что этот старый хрен не отлипнет, пока за погляд не возьмет денег, Абдижапар переадресовал старика с его бедами Есенкулю.

– Есеке, посмотри на того человека. У него беда. Он, вероятно, пришел просить машину. Помоги ему, – глаза у Абдижапара смотрели сикось-накось, и было ясно, он врет, как сивый мерин. – Найди шофера. Только быстро. Одна нога там, другая здесь.

Старик встал со стула и поплелся за Есенкулем.

– Ты что – послал его искать беглянку? – удивился Сан Саных. – Да ее днем с огнем не сыщешь! Только телегу разобьешь...

– Никто никого искать не будет. А телега отъедет на километр, не больше. А потом забарахлит мотор, шофер откроет капот, головой покачает: искра, мол, в землю ушла. Высадит старика и вернется. Пусть старый хрыч прогуляется. Ты думаешь, она в самом деле сбежала? Да это ход конем: он хочет избавиться от свадебных расходов. Но куш свой он сдернет со сватов, и погостит у них, и вернется с подарками. Ой, да где же там казан?

Абдижапар, потеряв терпение, сам ушел на кухню. Сан Саных, сразу же утратив интерес к сбежавшей девушке, вернулся к их больной теме:

– Этот налим согласен или нет? Что-то он суетится сверх меры. Так и вертит задом, так и вертит. Как кобыла в охоте перед жеребцом.

– Вот мы и покроем эту кобылу.

И Сигат, мстительно глянув на хрустали, мельхиор и серебро, привстал, дотянулся до форточки и смачно сплюнул на улицу. Дрожа курдюком, перед ним явилось блюдо мяса, но и оно не смягчило мстительной усмешки. Абдижапару же казалось, что он самого Аллаха держит за ухо, он был уверен, что ему удалось заарканить Сигата, поставить надменного серэ в зависимость от него, Абдижапара. В своем торжестве и рвении он загонял вконец свою «сноху» и Есенкула, которые и без того носились, не чуя ног. А хозяин дома всё придирался к сервировке стола и качеству блюд.

Сигат сидел с каменной мордой, ожидая, когда утихнет суета. И лишь возникла пауза, позволил лицу своему смягчиться:

– Как зовут тебя, милая?

Женщина зарделась от высокого внимания:

– Асыл¹.

– Ты и впрямь как драгоценный камешек. Тебе нужна достойная оправа, – и он решил осчастливить даму. – Сядь со мной рядом. И без тебя тут похлопочут. Одна баба крутится у казана, другая открывает бутылки, – он опарафинил их разом, Абеке и Есеке, не очень-то заботясь о тонкости острот.

«Сноха» выжидательно глянула на своего начальника и, прочитав в его сокрушенных глазах: «А что делать? Так надо», – стеснительно села рядом с Сигатом. Абдижапар, будто облитый помоями, вынужден был корчить из себя радушного хозяина.

¹ Благородный, породистый, драгоценный.

– Асыл, говоришь. Красивое имя. А почему я раньше не видел тебя? – ворковал между тем Сигат.

– Она полгода как у нас в ауле, – ответил за нее Абдижапар.

– Вот как?! – Сигат обернулся к Абдижапару, будто к свахе, как бы сетуя на черствость людскую и падение нравов. – Приглашать на свадьбы нынче не принято. Хотя, казалось бы, чего проще!

И он решительно, без церемоний, но нежно сгреб ее хрупкие пальчики своими ладонями и посмотрел ей в глаза. Асыл еще сильнее зарделась. Абдижапар, бедняга, взвыл, будто ему на мозоль наступили:

– Саке!.. Ау, Саке!

Можно было подумать, что Сигат был не за столом, а где-то в соседнем доме.

– Что случилось? – невозмутимо посмотрел на него Сигат. Абдижапар умоляюще протягивал ему голову барашка с провисшими, будто лохмотья, разваренными ушами. Сигат даже рук не отнял от горячих запястий женщины, перебирая ее мягкие пальчики. – Могу только есть. Разделить голову?.. Нет, сегодня я не в форме. Сан Саныч, будьте добры, возьмите на себя эту честь.

– Как! – ужаснулся Абдижапар, впрочем, не без юмора, хотя несколько вымученного. – Голову барашка, которого я с молитвой зарезал в честь высокого гостя, разделять будет кержак?!

«А что делать? Так надо!..» Чем не пожертвуешь ради спасения собственной шкуры?..

Сигат не проявил особого рвения в еде. Отщипнув малость от головки тазовой кости, утратил к ней интерес.

– Кому что, а лично я кроме старушки «Экстры» ничего не принимаю.

Абдижапар хотел выйти сухим из воды, не замаравшись о коньяк, выставленный им для гостей. Сан Саныч и Бекет, следуя привычке дикой тайги, как ни в чем не бывало, «хлопнули» по граненому стакану, в то время как Сигат лишь пригубил рюмку, отставив ее в сторонку. Пришлось им тоже отодвинуть посудину.

Серэ, хоть сам и не пил, но следил, чтобы женщина не сачковала. Когда он почувствовал, что его соратники утолили свой первый голод, он, скрестив нож и вилку, бросил взгляд на Абдижапару:

– Гипертония донимает?

– Ну! Наградил же господь.

– Врешь. Тебе не жалко самого себя?

Нет, ну в чем я провинился перед тобой? Даже ложку, поднесенную ко рту, Абдижапар положил на место.

– Ты же баранину глотаешь, будто конь овес. И водку глушишь, как в бадью сливаешь. А ты подумал, что желудок – помойное ведро? Его, наверно, пожалеть бы нужно. Знаешь, есть диагноз такой: «болезнь обжорства»?.. Нет, но так проще: назовем себя гипертоником...

– А что делать, Саке? Давление скачет. Держусь как могу!..

– Ну и дурень! Вот эти кержаки, что живут среди нас, не едят лошадиного мяса. Голова стригунка дешевле поросенка, а сам стригунок дешевле ягненка. По-моему, ты не из бедняков? Отдал бы на откорм копытце с гривой старикам, они рады были бы за жалкую малость помочь тебе... Пощипал бы сочные и мягкие кусочки лошади!.. А смочить глотку наперстком коньяку перед едой – грех ли это? Вот она и улетучилась бы, твоя гипертония!..

Будто по отцу тризну справляет! А ведь всё по лбу меня да по лбу, подумал Абдижапар. Опять разнес в пух и прах. Нет, ну будто его же собственную еду скалкой ему же в глотку... впихивал. Не только Сан Саныч, но и Бекет – оба они не могли понять, какой же смысл в том сочувственном издевательстве, которое Сигат позволяет себе по отношению к Абдижапару.

Асыл приглушенно засмеялась. Есенкуль, отсутствовавший всё это время и только что притащивший глубокую миску, удивленно глянул на лица молчавших людей.

– Унеси! Унеси! – набросился на него Абдижапар, сидевший до сих пор без звука. – Что... в этом доме... кроме тазов... другой посуды нет?

Жирные щеки Есенкуля не дрогнули. Немного постояв и как бы ругнувшись: «Да подавись ты!» – он развернулся жирным своим задом и потрусил себе прочь. Не зная, как ликвидировать подпорченный, себя уже истрепавший дастархан и теперь только всерьез увидев, как Асыл прилипла к Сигату, Абдижапар стрельнул было в нее сердитым взглядом, но – что его гнев и гроза? Достать ли им растаявшую и раскрасневшуюся, как маков цвет, женщину? И сам он, будто кишка, не выдержавшая напора фарша и лопнувшая, съезжился вновь до своей изначальной малости.

– А нас, оказывается, четверо, – проямлил он. – Один к одному. Как, Саке: перебросимся в карты?

– Всему свое время, – Сигат любил афоризмы. – Вот если бы... Асыл... домой пригласила да чаем напоила...

– Вам? Чаю? – она готова была подать ему в чайничке заварном свою собственную душу.

– О чем речь?! Чаю у нас навалом.

Абдижапар на все был готов. Он готов был горло перегрызть кому хочешь. Уж в этом-то Сигата обмануть невозможно.

Уехать намечали ночью. Но вначале Сигату захотелось отведать густого душистого чаю, заваренного нежными пальчиками Асыл. Потом он унюхал, что от водителя тянет винным духом и запретил ему садиться за руль, а Бекету с Сан Санычем, которые предложили свои услуги в качестве шоферов, заявил, что каждый должен заниматься тем делом, которое ему поручено. В общем, у директора были всяческие основания заночевать здесь, а какие – директор знает сам. Короче, Бекет не смог расстаться с Сан Санычем, который и рад был бы домой, но вынужден был заночевать в леспромхозовском бараке, а Сигат не смог расстаться с душистым чаем Асыл и заночевал у нее, чтобы по достоинству оценить вкусовые качества этого чая. Очевидно, чаепитие иссякло еще до рассвета, поскольку начальство подняло подчиненных с первыми петухами и не дало даже лиц сполоснуть, так спешило отсюда уехать.

Стояли утренние сумерки. Там, где должно было взойти солнце, наливалось голубизной небо. Иней лежал на земле. И хотя было безветренно, соседство рядом шумящей Бухтармы сказывалось пронизывающей сыростью, бросающей в дрожь. Юркий газик, сшибая замерзшие комья грязи, протарахтел по улице аула, вырулил на ровную дорогу и понесся, что говорится, с ветерком.

– Не гони! – сказал Сигат. – Жизнь и так коротка, спешить не стоит.

Шофер, чувствовавший себя со вчерашнего дня виноватым, благодушные слова директора воспринял как приказ и резко сбавил ход. Сигат попросил опустить

стекло передней дверцы, и утреннее благоухание леса взбудрило Бекета, помогло одолеть зевоту. Безмолвная дорога, безмолвный лес, и в машине все четверо тоже молчат. Легкий газик с разгону вот-вот ударится о стену густого ельника, но в последний миг найдя прореху и круто вильнув, проскальзывает в нее. Сан Саныч вынул трубку, но тут же снова положил ее в карман. Сигат не любит табачный дым и лишь в запале разговора не обращает на него внимания. Сан Саныч с надеждой посмотрел на Бекета, и Бекет стал следить за Сигатом. А тот снял шляпу, приткнул ее сбоку и, расстегнув ворот, подставил лицо утренней свежести. Лицо было серым, осунувшимся, рослое тело словно ужалось, будто за ночь он постарел лет на десять. Бекету стало жаль Сигата. Один как перст, у него даже ровни не было, чтобы поделиться сокровенным, да и работа – такие ли масштабы ему по плечу! Замкнутые рамки тайги были тесны его натуре, которой нужны были размах и простор. В его душе, видать, играла силушка, но, не найдя ей применения, он вынужден был довольствоваться малым: мыкал в одиночестве свою неуютную жизнь и старался забыться в каждодневной суете, из которой и состоят будни лесхоза. Отсюда и сварливость, и то, что людишек, которые крутятся под ногами, вроде того же Абдижапара, он порой прижимает сверх меры. Но даже понимая это и всем сердцем сочувствуя серэ, Бекет не решался навязывать ему свое внимание, чтобы тот приоткрылся душой и отмяк. Во-первых, неизвестно как Сигат воспримет это, а, во-вторых, он не знал, как к нему подступиться. И от этого испытывал неловкость. Особенно в дороге, сидя плечом к плечу. И хочется заговорить, и боязно, и от молчания становится не по себе.

– Саке, хочу спросить вас...

– Спрашивай.

– Зачем вы Абики похоронили заживо? Унизили перед его же людишками, которые слова доброго не стоят. Он все же среди них как петух в курятнике.

– Значит, я его обидел, да? Сиротку несчастного... он ради выгоды своей готов с каждого из них последнюю рубаху снять. Да он, не раздумывая ни минуты, каждого продаст и перепродает. И я с ним должен миндальничать?!

– И все-таки...

– Что – все-таки?

А то, что собаку лучше за хвост не дергать, подумал Бекет, она не только обгавкать может, но и покусать. И он подобру-поздорову заткнулся.

Солнце едва проглянуло, а южные склоны гор уже вспотели от растаявшего инея. Да и на северных склонах видно, как набухли сосновые почки и уже проклевывалась молодая листва на березах и в тальнике. Была та переломная пора, когда лес еще не одолел окончательно зимнее оцепенение, и жар надвигающейся весны пока что тлел уголочками, сдерживаемый ночными заморозками да летучим, как пепел, инеем. Лес походил на ослабевшего после болезни человека, который зябко ежится, отогреваясь под солнышком, изживая недавнюю хворь.

– На вершине Кантобе есть родник, его Святым называют. Там сделаем привал, – распорядился Сигат.

Едва въехали на серпантин подъема, газик утратил свою прыть, поехал медленнее, с натугой. Пока дорога, петляя по склону, добралась до макушки Кантобе, даже у Бекета, привыкшего к высоте, голова пошла кругом: и от крутых виражей, и от немислимых далей, которые распахнулись во все стороны света. Порой казалось, что газик вертится юлой на месте, одолевая кружение земли. Но куда

ни глянть, везде мозолят глаза растерзанные склоны Жындысая, напоминающие лицо одряхлевшей старухи. Каменные оползни, нагромождение пней, бурелом. Величавые пики, растеряв свой лес, осели как горбы худого верблюда. Глядя на этот разор, Бекет только диву давался: и как это они могли сожрать целую гору, она в окружности с полсотни километров будет. Сколько сил приложено, сколько вколочено техники, чтоб ободрать как липку такую-то махину?! А какой штат руководства содержался для этого! Сколько угрохано денег... Он одного не мог взять в толк: почему ради сиюминутной пользы, которая для наших детей и внуков обернется бедой, мы готовы затратить огромные суммы, а вот на то, чтобы чуть-чуть умножить богатства земли, чтобы не было стыдно перед потомками, у нас нет ни денег, ни техники, ни людей? Иначе разве влачил бы такое нищенское существование лесхоз? Как собаке обглоданную кость бросают, так и лесхозу перепадают порой какие-то крохи на бедность.

– В Жындысае надо открывать второй питомник, – сказал Сигат. – Сама земля не справится с таким разором, здесь и в тысячу лет самосева не будет. Саженцы – одно спасение.

– А где взять рабочие руки? – Сан Саныч, посасывая пустую трубку, привалился к затылку Сигата, судорожно вцепившись в спинку сиденья, будто он мог упасть. – И с Аюлы будет столько мороки, сколько мороки!

– Не думаю. Там есть что рубить. А ради этого Абдижапар в любой хомут полезет. Знай карауль только, чтобы он лишнего не прихватил.

– И караульных негусто, – вздохнул Сан Саныч. – На тысячу га один пожарник, а патруль... О Господи! Патруль и вовсе на три тысячи гектаров один. Да и тот на бумаге лишь значится.

– А сколько их нужно?

– Мало ли сколько!.. Тайга у нас горная. На двести гектаров нужен хотя бы один патруль и пожарных – не меньше двух. Это не считая вертолета, без него нам тоже никак.

– Ну-у, тебе и вертолет подавай!..

Со стороны, наверное, газик выглядел, как навозный жук, который, пыхтя и тужась, карабкался вверх по склону. Временами казалось, он вот-вот сорвется с крутяка и загремит вниз, в пропасть. И потому, когда он допыхтел до цели и влез на ровную проплешь макушки, Сан Саныч, вывалившись из кабины, облегченно вздохнул:

– Ну и гробовозка!

Здесь, на вершине, дул холодный, пронзительный ветер – неровен час, шапку сорвет с головы. От резкого подъема из влажной, душной впадины перехватывает дыхание. И становится ясно, что вершину хребта выстругал как доску и отполировал именно этот пронзительный ветер. Святой родник бил из-под камня и походил на маленькую речку, что, прожурчав до ближайшей расщелины, падает в пропасть и вопреки своей малости разрезает узкое ущелье пополам. Удивительный край! Народ здесь тишайший, ветер бешеный, родник и вовсе сумасшедший, а равнины – ровень с горами, а то и выше гор. И дыхание перехватывает не только от ветра, но и от далей необъятных, которые отсюда, с вершины, видны на все четыре стороны со всеми впадинами, всхолмьями, речками и еще невырубленной тайгой. У горизонта возвышаются снежные пики гор, они, обрамляя Алтай, будто в ладонях держат весь этот край. Порой он кажется Бекету отъеденным ото всего

большого мира, отгородившимся от быстротекущего времени и в безнадежности отставшим от него. За семь лет, которые прожиты здесь, он, казалось, впервые забрался на такую высоту и увидел Алтай весь разом и почувствовал восторг, недоумение и горечь.

Сигат, выйдя из машины, ополоснул лицо в Святом роднике, засучив рукава, набрал воды в ладони, напился.

– Саке, неужто и в таком краю человек обречен на старость и смерть?

Сигат с теплотой посмотрел на Бекета. Наверное, и в нем вся эта панорама пробуждала возвышенные чувства. Он раздумялся, в его седине сверкали серебряные капли воды, и утреннее солнце словно бы разгладило его морщины.

– Эх, была бы моя воля, не торопился бы я на тот свет. Даже в рай, – сказал Сан Саныч.

– Однажды в чистилище пришли два человека, – откликнулся Сигат доморощенным анекдотом. – Один с земли обетованной, другой из пустыни. Так вот, первому дают путевку в рай, второму – в ад. Тот вопит: «Почему? И так всю жизнь в аду прожил!» Ну этот, раздававший путевки, ему и отвечает: «Тебе привычнее. Того отправь в ад, он свихнется, а тебя ничем не удивишь». Так что, я думаю, на том свете нас не обидят.

– Интересно, ангел этот, с путевками, не кержак случайно? – развеселился Сан Саныч.

– Похоже на то. Ваш брат, кержаки, баловни природы. Нам не указ ни веления Аллаха, ни заповеди Христа. А вообще-то в рассуждениях того ангела логика есть: познал на этом свете наслаждения, зачем стремиться узнавать печаль на том?

– Баловни природы, говорите? Их так забаловали дома, что они сбежали из дому куда глаза глядят. Россия просторная, но места в ней для кержаков не нашлось. И только здесь, у казахов-родичей, удалось приклонить свою голову. Пес его знает, боюсь, и на том свете места нам не найдется.

Шофер, вывесив на солнышко свои портянки, свалился под их сенью и уснул. И запах портянок ему не мешает. Сигат покачал головой: дескать, и это мой кучер!

– Надо машину отогнать подальше от родника, чтоб не воняло бензином, – сказал он Бекету. – Пора позавтракать.

Бекет легонько, на малой скорости, стал отводить машину в сторону. Шофер всполошился, кинулся за машиной, а догнав, стал вырывать свои портянки на капоте.

– Молодец! Ему портянки дороже машины, – восхитился Сан Саныч. – Интересно, по сколько же платил за метр?

У Сигата было правило: брать в поездку свою кухню. Картонный ящик со снедью не уступал обилием яств ресторанному столу. Когда открыли крышку термоса, над родником разнесся запах густого чая со сливками. Сан Саныч нарезал желтыми ломтиками казы и жая и, перемешивая жир с мясом, усердно бросал их себе в рот, а Сигат одаривал каждого рюмкой коньяку.

– А где же наш кучер?

Кургузый газик, распахнув все свои дверцы, являл всей природе, всему Алтаю грязные пятки шофера, торчавшие из кабины.

– Сонное брюхо хлеба не просит, – покачал головой Сан Саныч. – Не везет вам с кучером, Саке. Меня бы, что ли, взяли. Поди, смог бы вожжи в руках удержать?

– Вы своего кучехвостого взнуздайте сначала, – поддел его Бекет.

Ветер, знобкий и без того, задул с севера, и хоть он не усилился, но густой лес под ними разволновался, расходился высокими гребнями зеленых волн. И эти вздохи тайги донеслись до них тревожным и даже устрашающим гулом. Бекет в недоумении глянул на небо – день вроде бы ясный.

– Ну и что? – спросил его Сигат. – Что за гром среди ясного дня?

– Ничего не пойму!

– А надо понимать, – и стал его инструктировать: – Посмотри на небо: синее как лед. Значит, снег должен лечь. Да, да – еще один снег, последний. Тогда погода и переменится к лучшему. Куралай¹ близится. Тебе, как леснику, это надо бы знать.

Убрать дастархан – минутное дело. Картонный ящик, изрядно полегчавший, вернулся в багажник машины. Сигат вышел на пешеходную тропу и высказал деловое предложение:

– А не пройтись ли нам пешком? Пока опустимся ко второму витку серпантина, шофер, глядишь, отоспится и догонит нас, – сухой палкой он как жезлом ткнул в сторону южного склона. – Вперед!

Прошлогодний пырей, спустившийся как овечья шерсть, цеплялся за ноги. Земля на плоской маковке горы заросла толстым слоем дерна, ожесточилась в полном одичании. Видать, она никогда не знала ни плуга, ни посвиста косы. Правда, и здесь высились местами вековые лиственницы, но верхушки их были срезаны молнией.

– Тут надо трактором все распахать, – Сигат ткнул палкой о ровную, как доска, проплешь вершины. – Двум отарам овец и пяти сотням коней здесь можно взять ком на зиму. А будут излишки – не пропадут!

– Место будто специально для питомника, – сказал Бекет. – И технике тут есть где развернуться, и солнца много.

– Да? А ты глянь на верхушки деревьев, – Сигат опять ткнул палкой теперь уже в сторону изуродованных листвяков. – И еще: во-он целый табунок елей. Вишь, как они сучились! С чего бы это? Не будет от них проку, не поднимутся они больше. А вот сосны – вроде бы выросли, да? Но обрати внимание: западная сторона кроны малорослая да пышная, а с наветренной стороны хоть рост высок, да веток маловато. Смекаешь? Не подходят они как строительный материал. Да, тут еще березы и тополя растут перед ними, но ветки их, которые на север, засохли. Выходит, тоже – пшик! Так нужен тут питомник?

Бекет, в надежде, что хоть Сан Саныч будет ему суфлером, посмотрел на него, но тот был занят тем, что пытался ликвидировать последствия недавней пирушки, толстенными пальцами выковыривая остатки мяса, застрявшие в зубах. Он был самозабвенно углублен в это увлекательнейшее занятие. Волосы рыжие, борода отликает медью, а густые лохматые брови смотрелись как темные сосны посреди желтеющего осенью леса. И глаза его синие, как лесные озера, в бездонной глубине которых прячется потаенная теплота, что редко-редко выплескивается наружу. Его крупная голова чуток не соответствовала его коренастой фигуре. В нем было что-то от смиренного мухортого мерина, который безропотно тянет зимой сани, летом телегу, тянет хоть в гору, хоть под гору.

– Что – живописно гляжусь? – Сан Саныч был явно смущен таким пристальным разглядыванием своей персоны.

¹ Время окота сайгаков, как правило, совпадает с весенней пургой, длящейся не менее недели.

– Да-а, однако шерсти в тебе – медведь позавидует, – улыбнулся Сигат. – Если спустят план по заготовке бород и усов, вы с муллой, лежа дома, можете разбогатеть...

Сигат, заметив, как вытянулось от удивления лицо парня, еще поддал жару, и Бекет действительно стал находить нечто общее между муллой Нуркасымом и главным инженером лесхоза. Тем более что Сигат их породнил:

– Они же братья, мулла Нурике и вот этот безбожник. Он младший брат муллы спроси хоть кого. Если тот повесил на шею четки, то этот, непонятно как, сумел избежать обрезания и теперь не может ни поклоны в намазе бить, ни креститься. Вот и ходит – ни там ни сям, серединка на половинку. Но... он хоть и половинчатый, зато плодовитый. Аж десять дочерей растит. Да хорошеньких! И даст Бог, появится еще много внуков – беленьких, черненьких, пестреньких и в полоску.

– Аминь! – рассмеялся Сан Саныч и отплатил, что говорится, той же монетой: – Не один я богач дочерьми, – мол, и сам ты, дядя, остался в накладе, и у тебя сынов нет. Но решил не бередить их общую боль, отшутился: – Я как лишняя карта в колоде, меня в расчет не берут: во время оразы я грешник, яйца красят – опять я нехристь. Так, чего доброго, родимой рюмкой обнесут.

Единственный, кто рыскал по макушке Кантобе, был ветер: никакого зверья – ни травоядного, ни хищного – здесь не было. Ни тебе следа от копыт, ни пометок когтей, ни даже помета. Из птиц одна сорока вездесущая цокала, следуя на расстоянии. Бекета удивило: равнина обширная, здесь запросто уместился бы целый аул, а лежала незаселенной, пустой: ни заимок, ни сараев, ни примет, что они когда-то здесь были. За что ее так невзлюбили окрестные жители? Можно подумать, что это не светлая равнинка, с которой вид на все четыре стороны, а голый скользкий пяточок, на котором не то что собаке будку приткнуть негде, а вше не угнездиться.

– Кантобе – барометр всему Алтаю, – разглагольствовал между тем Сигат, подставляя лицо порывам ветра. – Видите ту впадину у горы Маямер? Смотрите к западу – у самого горизонта... Видите? Местные жители называют ее Котенсай, а бабы еще проще – Шат, почти что «задница». По ту сторону перевала – обширная степь, она смыкается с Сары-Аркой, а по нашу сторону она, минуя узкое ущелье, образует эту самую впадину, наподобие ковшика. Или казана. Так вот в том казане и вываривается вся непогода Алтая. И ветерок, который сейчас дует, это дыхание Котенсая, дошедшее до нас. Летом тот ветерок похуже суховея, осенью он несет сырость, зимой – влагу. То есть ничего доброго тот ветер не несет, а потому зовут его Черная напасть. И Кантобе как раз на пути Черной напасти. Так что... если хочешь скотину вырастить, птицу развести – да что там! – если ты даже прутик в землю воткнул и хочешь, чтобы от этого был толк, береги их от этой Черной напасти. Не знаю, было ли не было, но говорят, что предки Сан Саныча распахали и засеяли вершину Кантобе. Летом жара нещадная, а чуть к осени – сырость безмерная, а с ней и грибок. Какой там урожай! Мерин единственный, на котором приехали, и тот сдох. Ну они и сбежали отсюда без оглядки. А кто виноват? Видели же, что кроме этого родничка воды здесь нет, да и родник-то поперечный, наоборот бежит, в обратную сторону.

А тупорыленький газик все стоял у родника, никак не мог завершить свой привал, очухаться от сна. Сан Саныч плюнул в сердцах, загнув трехэтажный мат, будто можно было таким способом добудиться до шофера:

– Жаль нет ружья, я бы ему смазал пятки.

– Н-ну, простым окриком его и подпруги подобрать не заставишь. М-да... такова она, нынешняя молодежь, – подытожил Сигат. – А поскольку ружья у нас нет, мы пойдем потихоньку вперед. А он... не век же ему спать! Отоспится – догонит.

3

Шар солнца, казавшийся огромным на восходе, поднимаясь в зенит, стал уменьшаться в размерах и словно бы от этого тускнеть и остывать. В ущельях сгустилась синяя дымка, верхушки тайги затуманились. Марево на горизонте накрыл белым навесом зубчатый силуэт горной гряды, а сам горизонт отдалился, утратил четкость. Впадине, которую Сигат назвал ковшиком, не было видно начала и конца. И оттого, что солнце то гаснет, то разгорается сильнее, земля то съезживается, то распахивается во всю свою ширь.

– А на Алтае становится тесно, – нахохлился Сигат. – Не осталось ни угодий, ни пастбищ.

Вот это новость, подумалось Бекету. Конечно, между селами всего по десять километров, но ведь они жмутся к трассе, а остальное пространство на две трети, не меньше, лежит нетронутым. Разве что южные склоны Алтая скотина топчет летом. А северная сторона тех же сопок? Там заросли, да густые и даже дремучие, причем они в распоряжении таежного зверья. Чем не пастбища?

А Сигат углубился в историю вопроса:

– Все чужеземцы во все времена зарились на этот край. Найманов было вытеснил восточный сосед, но во времена батыра Барака найманы вернулись на свои исконные земли. И тогда Мая, предводитель рода Шонмурынов, сказал: «Жаль, край тесный: скот не разведешь. Но душе тут вольготно. Вот из-за этого сюда и будут лезть завоеватели». Он велел своему народу заселить эти земли, а сам именно здесь, у подножия пирамиды, повернувшись спиной к Котенсаю, раскинул свой шатер, расположился жить. «Если погибель моя придет от твоей красоты, – сказал он, глядя на то, что мы сейчас с вами видим, – то хоть напоследок посмотрю на это небо, на эти горы, на всю эту земную благодать». Говорят, с тех времен и осталось это деление одного рода на Ор-ель и Бер-ель¹...

– Так вот почему, сколько я ни рылся в географических справочниках, я не мог найти, что значат эти названия: Урьль, Берель, – рассмеялся Бекет.

Тут и Сан Саныч проявил краеведческий интерес:

– А почему эта пирамида называется так – Кантобе?

– Кто его знает? Оно могло бы звучать и как «хантобе» – гора ханов. Но что-то я не слышал, чтобы когда-нибудь кого-нибудь на вершине этого холма провозгласили ханом. А кровушки тут пролилось немало – и в незапамятные времена, и при царизме. Царь мастер был срамливать местные племена друг другом. И было дело, прибыл сюда карательный отряд из Бухтарминской крепости. Прибыл и полег тут костями... Кан – значит кровь. Кровавая гора... Так оно или не так, дело второе, но скот в этом краю разводится плохо. Потомок того самого Мая, знаменитый Сарткожа, имел всего-навсего пять тысяч лошадей.

– Как мало! – присвистнул Бекет.

– Да-а, до нас тут люди жили в нищете, – съязвил Сан Саныч.

¹ Ел – народ, ер – гордый, берік – крепкий, выносливый (каз.).

– Еще что скажете? – собрался обидеться Сигат.

– А что тут говорить? – разволновался Сан Саныч. – У нас во всем районе есть десяток хозяйств, у каждого из которых лошадей – ну в лучшем случае тысяча. И думается мне, что в те времена в этом краю тоже был, наверное, десяток баев, таких же бедных, как Сарткожа.

– Пожалуй, так оно и было.

– Тогда кого мы пытаемся обмануть? Мол, скотине тут не житье...

Они уже спустились к подножию горы, порывы Черной напасти остались там, наверху, и в мире воцарились безмолвие, тишь, будто все звуки всосала в себя сырость. Деревья хилые, что ни шаг – то родник, и земля устлана мохом, даже дерна нет. Правда, торчат кое-где иссохшие костыли болиголова и лоха ядовитого, оставшиеся с прошлогоднего лета – другая трава тут, видно, не растет. Пока дошли до желтой низинки, Бекет едва не задохнулся.

Сигат шел споро, он их легко обогнал и теперь подкалывал Сан Саныча:

– Ты, я вижу, совсем разленился? Одышка, дрожание в коленях... Куда это годится? – он старательно обрабатывал пень, счищая о него грязь с обуви. – А все потому, что с коня не слезишь. И дома лежанке бока отдалил.

– Я все про ту собаку думаю, – Сан Саныч зло посмотрел на вершину горы. – Ведь это ж надо! Как беременная баба: где голову приткнул, там и спит. Он бездельничает за баранкой. А ну как заставить этого идиота овец пасти? Да их волки в лес перетаскают!..

Сан Саныч для подобных марш-бросков одет был, пожалуй, слишком тепло, а потому взмок от пота. Он был непривередлив к одежде, и все сезоны, будь то июльская жара или январские морозы, ходил в брезентовом плаще, подбитом разве что овчиной. Сегодня амуниция его подвела.

– Овец я ему мог бы дать пасти. Но где их взять? – невозмутимо гнул свою линию Сигат, пытаясь отвлечь Сан Саныча от его раздражения из-за сонливости шофера. – Трава у нас тут нежная, но земля сырая. А нынешняя тонкорунная овца невынослива. Она и летом, хроменькая, не уходит дальше кошары. А зимой разгрести трехметровые сугробы, чтобы добраться до травки, – куда уж ей! Околеет на месте. Так что наши альпийские луга – для маралов, лишайник на скалах и мох на болоте – для оленей, а северные склоны хребтов – это уж для коней незаменимое пастбище. Здесь не то что пять тысяч – полмиллиона лошадей могли бы уместиться.

– Да вы же сами сказали, что тесно?

– А это смотря по тому, как использовать землю. В каждом из наших хозяйств есть все: и овцы, и коровы, и лошади, и свиньи. Даже посевные площади есть. Но и этого кому-то показалось мало – каждое из хозяйств заставили разводить оленей. Ради плана! Главное, галочку поставить в отчетах. А есть в этом смысл, нет ли, дело десятое... Начнем с овец. Кому какая польза от овечек, если треть их каждый год погибает?.. А приплод – рекордный! От ста овцематок в лучшем случае – пятьдесят ягнят. Ну, шерсть – та остается в тайге, на ветках. Та-ак, теперь коровы. У нас от них – ни молока, ни мяса. То есть бедную коровенку и пасти-то негде. Те немногие покосы и пастбища, что были, распаханы. Ради чего? У нас что – небывалые урожаи? Да все приличные поля нашего района, если сравнить их с одним целинным совхозом, они вроде козлиного пастбища. Но чтобы распахать их, нагнали техники, как на Курской дуге. На севе и в жатву техника та

конечно, работает. Но это считанные дни в году! Остальное время техника за ненадобностью просто ржавеет, под дождем ли, под снегом... Вот так у нас руководят хозяйствами: ждут инструкции сверху да орут на подчиненных, чтоб те инструкции неукоснительно выполнялись. Тут бы своими мозгами пораскинуть, но и на это, видать, ждут сверху циркуляр.

– Саке, но ведь и вы среди этих самых руководителей.

– То-то и оно.

Сигат надолго замолчал. Мимо тянулось унылое поле в перепревшей прошлогодней стерне и со свирепо торчащим там и сям сухостоем.

– И я среди них! Я тоже. Загубив двести квадратных километров леса, не могу даже прутика воткнуть. А землю надо спасать: и рельеф изменился, и качество почвы. Мелеют реки, на месте леса вырос дикий кустарник. Уменьшилась влажность, и превратились в пустыню покосы и пастбища. Вот тебе мой отчет. Ты это хотел услышать?..

Громыхая, на бешеной скорости их догнала устряпанная грязью техничка и, явно намериваясь перевернуться, резко тормознула – Сан Саныч руку поднял: мол, подвези. Из кабины высунулся паглатый шофер.

– Такса – мерзавчик! – объявил он.

Сан Саныч опешил:

– Сам ты мерзавчик!.. Нашел где собирать подачку.

– Тогда топайте дальше. Для здоровья полезно! – он с шумом и грохотом рванул дальше, за бесплатно обляпав Сан Саныча грязью.

Это поддало Сан Санычу жару:

– С-скотина! Давить надо таких мерзавчиков...

– Скажи спасибо, что он тебя не задавил. Запросто мог бы наехать, – ехидно глянул на него Сигат. И повернулся к Бекету: – А ведь твой ровесник. Ты недавно жалел Абдижапара. Пожалеть его вроде бы можно: старый, износившийся человек. Он, конечно, пройдоха, но слово держит крепко. А что скажешь про этого «мерзавчика»? Он самого Абдижапара за пояс заткнет. Я слышал где-то, что сотворение человека еще не закончено. И впрямь: гляди, как совершенствуется природа прохиндея!

Бекет промолчал. Вольно серэ под все подводить философию! Да еще с подначкой: мол, «мерзавчик»-то ровесник твой... Бекет огляделся даже вокруг: нет ли поблизости еще какого-нибудь кандидата в мерзавчики для новых подковырок директора? Расхлябанная дорога была, по счастью, пустой. Но Сигат, по несчастью, был полон желанием если не переустроить мир, то хотя бы перевоспитать заблудшее поколение. В лице Бекета, разумеется. И сделать это немедленно – здесь, на раскисшей дороге.

– Вот мы ради идеала, ради будущего пожертвовали всем. И не жалеем об этом. Мы и войну – да какую! – на своем горбу вынесли. Мы знали, мы верили: после нас придут другие – умнее, чище, благороднее нас. И что же? Пришли! Жизнь, слава Богу, безбедная, сытая. Но что за ней? Ведь не хлебом единым жив человек! Каким будет завтрашний день? Это я уже хочу спросить у вас, потому что от вас он зависит, этот завтрашний день. О чем вы мечтаете, какие проблемы не дают вам покоя? Нет, ну разве можно жить по принципу: день да ночь – сутки прочь? Или как этот... «такса – мерзавчик».

– Живут ведь, – буркнул Бекет.

– Да не живут, а существуют, – сокрушенно вздохнул Сигат, огорченный его безразличным ответом. – Мы были борцами. А вы? Вы живете вполсилы, и цели у вас мелкие, и сами вы мельчаете поэтому. Что за болезнь такая? В толк не возьму... Народ измелъчал.

– Саке, у вас было другое время. Была романтика. Революция, война... Был враг, наконец. А враг – это готовая мишень, чего там раздумывать? У нас тоже мишень... Мы тоже не бездельничаем! Овец пасем – там, где есть овцы. Лес рубим – тоже там, где он есть. За баранку держимся, «мерзавчик» выклянчиваем. А что? Вы хотите, чтобы все рвались в космонавты и академики? Ну, все рванемся, а вкалывать кто будет? И потом: космонавт – это призвание, ученый – это талант, редкий дар. А он есть не у каждого.

– Если твой колчан не пуст, найдется крепость, которую нужно отвоевать. И... не надо этого: мол, была романтика, а теперь нет. У каждого времени свои сложности, у каждого поколения свои рубежи. Кстати, по сравнению с довоенным сороковым годом население района – причем взрослое! – увеличилось вдвое. А трудозатраты в общественном производстве остались на том же, довоенном уровне. Что из этого следует? А то, что половина трудоспособного населения не у дел. Почему? Допустим, мы за счет механизации высвободили рабочие руки, но руки эти остались тут, в нашем районе, и человеку при тех руках пить-есть надо, обуваться-одеваться. То есть потребление товаров возросло вдвое, а отдача...

– Саке, да был бы покупатель, товар найдется – от золотой побрякушки до сдобной сушки, – не удержался, вклинился Сан Саныч. – Только б у людей, которым надо есть-пить да сытно жить, не пропадало желание к этой сытной жизни, не опускались бы в безволии руки.

– Вот где собака зарыта! Найдутся, значит, и золотые побрякушки, и сдобные сушки. А денежки где на них взять? Сейчас на каждую семью приходится одна лошаденка. Конечно, мы шагаем в ногу со временем, есть у нас и личный транспорт, на каждые двадцать дворов – один мотоцикл, на каждые сто – легковушка. И это называется богатство?

– Может, и не богатство, но и не бедность. Скажем проще: достаток.

– Че-пу-ха! – отрезал Сигат. – Достаток... Ну есть кой у кого сберкнижка, на которой денег – кот наплакал. А мотоцикл или там подвода – так это просто для семейных нужд, в селе без них никак не обойтись. А ты в корень смотри, в корень! Раньше в каждом ауле на всю бригаду был один механизатор. От силы – два. А сейчас? В каждом доме – свой шофер, свой тракторист. Ну а какой у него ежемесячный заработок, ты знаешь? Я имею в виду не то, что он закалымит налево – это как повезет! – а ту законную зарплату, которую он приносит каждый месяц жене.

– Я в чужой карман не заглядываю, – увернулся от прямого ответа Сан Саныч.

– А надо бы... полюбопытствовать, ты все же главный инженер, – с укоризной сказал Сигат. – Так вот, лишь на севе да на жатве механизатор чувствует себя человеком. А все остальное время он приносит жене ежемесячно – сколько б ты думал? Десять рублей или даже пятнадцать! А у него одних детей трое-четверо или пятеро. Или семеро. И заметь: хозяйства у него – никакого. Так что молочко да мясо он должен вымолить у стариков-пенсионеров, что еще держат из последних сил единственную кобыленку да многострадальную буренку. Вот он и рыщет после жатвы по лесхозам и леспромхозам, чтобы закалымить десятку-другую, чтоб руки свои приложить к какому-нибудь делу. Домохозяйки – те вообще сидят без

работы. А бывает так: он в одном хозяйстве работает, а домочадцы как тараканы разбежались по всем окрестным конторам и кордонам – только б не сидеть без работы, только б заработать хоть что-нибудь на жизнь. Это, что ли, по-твоему, достаток?

– Не живи, как хочется, а живи, как можется, – опять ушел в неопределенность Сан Саныч. – Как там говорил Абай? Можешь хоть ишаку зад чистить, только б на кусок хлеба заработать при этом.

– Ну, Абай... что бы он ни сказал, всегда кстати. Времена-то меняются. Да и мы вроде бы изменились.

– Будет вам, Саке! Из-за какого-то мерзавчика душу травить да расстраиваться... Не мерзавчики погоду делают, не на них земля держится.

– Тем более! Мы должны их гнать взашей, всем миром гнать.

– А мы что делаем?

– Мы? Мы пешком идем. Он едет и в ус не дует, а мы пехом топаем. Мы заняты глобальными задачами: ищем социальные корни преступности, хищений. А причины элементарной людской низости, вымогательства, хамства – для нас это частности, этим можно и пренебречь. Но не отсюда ли все наши беды?.. Эх, скостить бы мне с полсотни годов!

– И что тогда?

– Жил бы иначе – с самого начала. Не робел, не пасовал...

– Перед чем?

– Перед всем.

И этот туда же, подумал Бекет. Да и есть ли на свете хоть одна живая душа, чтобы в старости не сокрушалась о прошедшей жизни, в которой что-то важное было упущено – причем непоправимо? О каких потерях Сигат сокрушается, и что за адское пламя ему душу жжет? Чужая душа потемки, поди разберись, что в ней ноет занозой, но, видно, заноза та засела глубоко, и неспроста засела. Было дело, видать, и Сигата огрели дубинкой, да так огрели, что до сих пор боль не проходит.

Едва солнце склонилось к ночлегу, подул зябкий ветер. Он накатывал волнами сумеречного марева, и крыши аула, маячившие вдали, стали зыбкими, почти нереальными, они походили на паруса рыбачьих лодок, что уплывают в наступающий вечер. До них было километров десять, но оттого, что шли пешком, расстояние словно удвоилось. Бекет и Сан Саныч вспотели, вынуждены были сбросить верхнюю одежду, тащить ее в руках. Сигат лишь галстук приослабил. Ветер заставил их снова накинуть одежонку. Сигат при этом лишь плотней запахнул полы своего легкого костюмчика. Бекет и Сан Саныч старались идти посуху, обочиной да кочками, но сапоги их тащили пуд грязи, а Сигат как по асфальту шел, ничуть не увязаяв ботинки.

Бекет рассмеялся невольнойно:

– Саке, а что за обувку носили вы в свои двадцать пять лет?

Сказал и осекся. А ну обидится серэ? Есть примета в народе: друг смотрит в глаза, недруг – под ноги. Сигат не обиделся, вопросом не пренебрег.

– В свои двадцать пять я не то что обувки – ног под собой не чуял. Мне свои двадцать пять и вспоминать не очень-то хочется.

Сан Саныч осторожно глянул на Бекета: охота лезть, мол, на рожон? И как бы направил мысль в другое русло:

– Эх, мне бы опять мои двадцать пять! То-то покуролесил бы да порезвился...

– Это кому как: кто в двадцать пять куролесит, кто дело делает, – Сигат как бы насильно вернул Сан Саныча к сути разговора. И повернулся к Бекету: – А кстати, тебе сколько лет?

– Да уже тридцатый разменял. А что?

– Возраст вполне подходящий, чтобы занять солидный пост. Эпоха НТР – эпоха молодых! Вот и держайте. Нам, старикам, покажите пример... Вот ты меня спрашиваешь: что я носил в двадцать пять? А что ты хотел бы носить и что ты стал бы носить, получая зарплату – ну, скажем, в пятнадцать-двадцать рублей? Между прочим, у нас в районе многие из твоих сверстников получают такую зарплату.

– По одежке протягивай ножки, – мудро заметил Сан Саныч. – Работа у нас сезонная, на всех не напасешься.

– Выходит, едоков много, а ложка мала, – покачал головой Сигат. – А если мозгами пораскинуть? Да были бы наши хозяйства по-настоящему крепкими, руководил бы ими толковый хозяин, да разве тосковали бы руки людей по работе? Нет, ну если от каждой овцы получать пол-ягненка, тогда, конечно, вылетишь в трубу. А ты получи двух ягнят! Конечно, овца – не бройлерная курица, овцу через месяц в казан не отправишь. Но это ж азбучная истина: используй не только летние пастбища, откармливай овец круглый год, и все двенадцать месяцев потихоньку сдавай их на мясокомбинат. Ну, коли ты вроде Карабая не собираешься доводить их поголовье до пятидесяти миллионов! В конце концов, овца тебе нужна не ради галочки, а ради пропитания. Да, кстати: вместо одного барана можно откармливать пару свиной – их у тебя охотно купят кержаки, которые, опять же кстати, тебя снабдят картошкой и овощами. Опять же вместо одной коровенки можно держать оленя или десяток лошадей, выгода ничуть не меньшая: знай погоняй табун палкой, а уж коня – его ноги прокормят. Что, лень с лошадьми возиться? Займись пчелами. Оно, конечно, хлопотно, но тоже прибыльно. Короче: для лопаты навоз всегда найдется. А умелые руки под любой кучей навоза сумеют найти золотую жилу.

– Ой ли? Умелым бы рукам да умную голову, – Сан Саныч как бы подбросил в костерок соломки. – Но это уж не по нашей части. Пусть молодые пробуют. Они и шустрее нас, и грамотней...

– Это ты в точку: и шустры, и грамотны. Диплом сейчас у одного из десяти, аттестат зрелости – ну, им-то обзавелся каждый «мерзавчик». А как же! Время всеобщей учебной повинности, – поставил диагноз Сигат. – На иную девицу с дипломом глянешь и, сам того не желая, молишь Всевышнего: только б она не стала несчастьем семейного очага какого-нибудь бедолаги-парня, только бы не родила придурка! Да и парней, будь моя воля, прежде чем раздавать им аттестаты зрелости, я направлял бы к психиатру. А пусть сдадут экзамен на человечность! Тогда понятней будет, кому сподручнее лопату держать, а кому людьми управлять. А то мы долбим как попугаи: каждому по потребностям, от каждого по способностям. Всех готовы стричь под одну гребенку: и талант, и бездарность, и лодыря, и трудягу. Но принцип уравниловки губителен для интеллекта!..

Он говорил не очень последовательно, но горячо, даже зло, не заботясь, слушают ли его те, кто рядом. Видать, наболело и припекло, и на ходу цепким взглядом он машинально обследовал склоны, их древесный покров. Но редкие и чахлые деревья имели жалкий вид, они, как и люди, были отмечены печатью вырождения. И обескураженный этим Сигат снова взялся прикапывать Бекета, словно бы тот был во всем виноват:

– Все выдрали, все извели на нет. Теперь давай распахивай склоны, высаживай саженцы. Но хотел бы я знать, как ты собираешься на такой крутяк втаскивать технику? Как? Ты решил? Или думаешь, за нас с тобой решать будет этот «мерзавчик»? Да ему плевать – на тайгу, на горы, на весь белый свет.

Вообще-то, понять Сигата можно. Край оскудел, обнищал. Алтай, каким его впервые Бекет увидел семь лет назад, был другим. В какой распадок, бывало, ни сунься, там кроме подхозов всяких разных райпо да райфо гнездились фермы, па секи, лесопилочки для кустарных, сугубо местных нужд. И в какой бы глухой угол ни забрел, от тебя шархнется беспривязный домашний скот или брехливая собака, потому как тут же обнаружишь и пять-шесть дворов, а то заимку охотника или лесничего. Сейчас все исчезло, кроме лесопилок, что следуют за леспромхозом, как сорная трава за рисом. Реки, в которые раньше и лошадь-то входила с опаской (неровен час на скалы унесет!), теперь копыта коню не замочат, а значит – какой там берегами травостой? А никакого. Кое-кто пенял на ледники, которые-де сошли с вершин и обезводили реки, но геодезисты опровергли эту байку: лес вырубать не надо. А вырубил лес и нарушил баланс атмосферный – ни росы поутру, ни тучек в полдень. И ледникам подпитываться негде – не жалуется влага вершины Алтая, неоткуда этой влаге браться. Потому как на тысячу вырубленных деревьев десяток прутьев воткнут и считают, что лес восстановлен. А лес Алтая особый – аристократических пород, саженец не очень-то примется. Алтайский лес самосев признает. Да и почва капризная, годится лишь для хвойных. Леспромхоз, желая хоть как-то противостоять разору и компенсировать потерянные гектары леса на сопках, распахал последние покосы и пастбища в низинах, посадил пихту. И что толку? Ни покосов, ни пастбищ. А саженцы высохли.

4

Аул встретил их зазывным запахом горелых шкварок. Их жарили в столовой. Но главные события были по соседству, в универсаме, где чулки можно было купить вместе с вином, а ткани с водкой. Универсам штурмовала гудящая толпа мужского населения. Впрочем, увидев директора, толпа обратилась в паническое бегство. Так вороны прыскают врассыпную от беркута, стараясь прошмыгнуть в закуток, в переулочек.

Уже на входе в аул Сан Саныч стал проявлять беспокойство, зачем-то оглядываться и жмурясь при этом.

– Чего всполошился? – Сигат не упустил возможности поддеть Сан Саныча. – Поди, пришла пора Марфе снимать чугунок с огня? А мы бессовестные, пригласишь – пойдём.

– Это – милости просим. Марфин суп от нас не уйдет, – ничуть не смутился Сан Саныч. – А тревожит меня этот пес полусонный. Он, чего доброго, глаза продравши, не туда заедет.

– Не думаю. В крайнем случае – сшибет «мерзавчик».

– Да эта псина и «мерзавчики» сшибать не способна!..

Деревянные дома под красной черепицей смотрелись будто близнецы, они как напоказ выстроились вдоль главной улицы, а всякие клетушки-сараяшки стояли на отлете, жались по задворкам, чтобы не нарушать благолепия. В палисадниках опять же не пользы для, а ради красоты посаженные дикие яблоки уже набрали первоцвет и словно бы ждали приказа директора, чтобы зацвести окончательно и

бесповоротно. И даже ставни на окнах с наступлением сумерек закрывались как по команде, дабы не нарушать чинного и строгого единообразия. Улица была вылизана будто напоказ – ни мусора, ни иных посторонних предметов. Лепешка, оставленная какой-то бродячей и крайне безответственной коровой, была настолько неуместна среди улицы, что распахнулась ближайшая от места происшествия калитка, и вынырнувший оттуда черный старик в срочном порядке ликвидировал это безобразие, аккуратно поддев его лопатой и забросив подальше в сад. И разбежавшаяся от магазина очередь, и показушная чистота неприятно поразили Бекета, обнаружив какую-то казарменную боязнь и заискивание аульчан перед хозяином. Как же, как же – «сам серэ прибыл», или, проще говоря, «серый объявился». Будь начеку!..

– А у меня и вправду баню затопили, – сказал Сан Саныч добродушно вроде бы, но не без опаски: а ну как Сигат навяжет ему какую-нибудь работу – он мастак на такие дела.

– Банька – это хорошо! – одобрил Сигат. – Тем более у Марфы. Она мастерица. Уж если она тебя отхлещет веником в парилке, попадаешь прямо в рай.

– На чужой каравай рот не разевай, – Сан Саныч сказал это тихо, но охладил мечтательность начальства. Служба службой, а табачок – врозь.

– Ладно, иди, – милостиво разрешил директор. – Тебя сейчас хоть кнутом погоняй, хоть дрыном отхаживай, ты как тот конь, что почуял стойло.

Сигату нравилась покладистость Сан Саныча. При всем при том, был он мужиком основательным, в меру угодливым, но и в меру строптивым – по крайней мере, на словах. Отбрить он может будь здоров, но зла в душе не держит. А его долготерпение и выносливость делали Сан Саныча человеком просто незаменимым. На него навьючить можно любую поклажу, любой груз потянет без звука. Вообще он пахарь по натуре, работага. И судя по тому, как он пытается сейчас улизнуть домой, избежать Бог весть каких дел, они у Сигата всегда, видать, в запасе, начальство пользуется его безотказностью, держит на всякий случай под седлом, не давая порой просохнуть потнику.

Контора оказалась закрытой. Высохший словно живые мощи старик принес ключи. Дряблая кожа, мешком висевшая у подбородка, еще сильнее подчеркивала его невозможную ветхость. Такому вся дорога – от печи до порога, а он, видишь ты, служит.

Сигат хоть и поздоровался с ним приличия ради, но поморщился при этом, как от зубной боли:

– Сын-то твой где?

– Сын? – старик подслеповато мигал, пытаясь, видать, докумекаться, о чем его спрашивают. – При чем тут сын? У дочери я живу. А дочь моя поехала в этот.. Ну как его? Упомнить не могу. А, вспомнил: собес. Там ей пособие положено за пятые роды. А пособие это – тьфу! – кот наплакал..

– Сам-то пенсию получаешь?

– А как же! Пенсия – святое дело.

– Так чего ж тебя носит? Лежал бы дома да беседовал с Богом. Или что – орден найти хочешь дочери... на дорожке между конторой и складами?

– Не-ет, и орден у меня тоже есть. Да не один, а два: за Турксиб и за трудармию.

– Ух, какой ты заслуженный! Ладно, убери-ка локаторы свои в сторонку, а то дорогу в контору перекрыл, – уши у старика были и впрямь как локаторы. – Того и гляди Богу душу отдаст, а хомут снимать не хочет.

Они, пожалуй что, засиделись в конторе, обговаривая неотложные дела. Уж и свет зажегся в домах, а потом кое-где начал гаснуть. Люди налаживались спать. Надо бы и Бекету подумать о ночлеге. Ему было неловко идти в дом Сигата. Загостился он в этом доме, пора и честь знать. И Бекет решил заночевать в общежитии.

Сигат будто подслушал его мысли:

– В общежитии тебе сейчас не место. Хочешь не хочешь, а дистанцию надо держать с подчиненными. От замашек «дикой тайги» избавляйся. Ты у нас, как никак, начальство.

И начал обустривать его быт:

– Завтра переедешь в один из коттеджей. И завтра же пошли завхоза в Зеренду: пусть привезет тебе мебель. Жениться не надумал?.. Тут дело такое, хозяйка в доме нужна. Ну да ладно. А на сегодня... Тебе не будет тесно в моем доме?

Глава восьмая

1

От одинокой юрты у склона горы отъехал одинокий всадник – старик на вороном коне. Мир был ясен и тих, и вороной ступал по земле едва слышно, чтоб не нарушить той тишины и ясности. Старик был задумчив, а если приглядеться пристальней – мрачен. Одет он был, пожалуй, старомодно: на голове – борик¹, на ногах – сапоги с высоченными голенищами, и в дополнение ко всему – чекмень, полукафтанчик из верблюжьей шерсти. По одежке старик походил на свою сиротливую юрту, что поставлена была у склона горы на еще не просохшей земле и казалась реликтом в этом современном мире, давно потерявшем приметы милой, доброй старины. Под переднюю луку седла он подоткнул кнутовище из таволги, искусно обмотанное медной проволокой и очень кстати дополнявшее облик всадника. Старик пристально глядел по сторонам. Его рыжие глаза поблескивали как у полосатой кошки, и к тому жаркому блеску была примешана яростная и холодноватая прозрачность этого чистейшего, без единого пятнышка неба. Нос горбинкой, крупное и суховатое лицо, какое бывает у волевых и властных людей. И хотя усы и борода были белы, подчеркивая более чем почтенный возраст старца, но его крупное статное тело никак не вязалось с дряхлостью, а говорило скорее о том, что старик еще в поре и не утратил своей мужской силы.

Звали его Шерубай.

Вороной косил глазом на лошадей, что лежали, скучившись, у опушки леса, и Шерубай, подергивая поводья, чтоб конь на пустяки не отвлекался, направил его к склону Жындысая, пестревшего свежесрубленными пнями. Из-за каменной осыпи у скалы раздалось ржание, и по звону колокольцев Шерубай определил, что это табун молодняка, но не стал снижать хода, пока не достиг подножия хребта, обезображенного гусеницами тягачей, располосованного волокушами. Здесь он раскрыл полосатый коржун у седла и, сотворив молитву, запустил в него было руку, но в небе раздался грохот, подминая звон колокольчиков и пугая лошадей, шарахнувшихся в разные стороны. Горы и камни загудели, охваченные ознобом, и Шерубай в ярости сжал горловину коржуна, будто в руки ему попалась гадюка и он сейчас ее придушит, не сходя с этого места. Лицо его передернулось судорогой, он с ненавистью глянул в небо: «Опять эта напасть на мою голову рушится».

¹ Головной убор, сшитый из шкурок и лапок пушных зверей.

Тупорылый вертолет, вынырнув из-за маковки Жындысая, оглушил землю шумом и грохотом, бреющим полетом прошелся над чащобой Аюлы, вернулся, повисел над сиротливой юртой старика и, покружив над голыми холмами, как бы не найдя, куда ему сесть, завис над заимкой в Жындысае и выбросил веревочную лестницу. Когда на той лестнице замаячили люди, старик взмолился: «Хоть бы кто-нибудь шею свернул!» Но Всевышний остался глух к его мольбе, и тупорылая стрекоза, опорожнив свое нутро, улетела в сторону центральной усадьбы лесхоза.

Грохот оглушил старика и как бы вышиб его из времени и пространства. Минуту-другую он был неподвижен, потом сумел все же вытащить сведенные судорогой руки из коржуна, разжал ладонь. На ней лежала горсть кедровых орехов. Старик метнул их как можно дальше по следу коня. И конь, знавший наизусть и хозяина, и эту каждодневную работу, неспешно двинулся дальше. А старик все бросал и бросал направо и налево пригоршни орехов, пока коржун не опустел. Потом, вытерев пот со лба, свернул мешок, привязал его к тороке и, развернув коня, осмотрел следы своей работы. Красные зерна, словно излучая тихий свет, лежали на земле. Теперь предстояло втоптать копытами коня как можно больше зерен в землю.

Когда и с этим было покончено, он цепким взглядом осмотрел небо окрест и, прищпорив коня, остервенело ринулся к юрте, будто хотел смести ее с лица земли.

2

Веревка, натянутая для привязи коней, выцвела, набухла влагой. Сейчас у привязи было тихо и пусто. Из-за юрты с заливистым лаем выскочили три собаки. Громадный, как теленок, волкодав шаловливо подпрыгивал к морде коня. Шерубай сердито цыкнул. Волкодав сбавил прыть, отступил выжидательно в сторону. Серая сука, тощая, с прилипшим к спине брюхом, покорно трусила рядом, проводив старика до самых дверей.

В юрте хозяйничала женщина. Она вся излучала здоровье, была крепенькой, сбитой, что называется, в теле, и походила на тугое веретено, что перекатывается от переизбытка пряжи. Она взялась было открывать тундык¹, но заслышав топот копыт, расправила подол платья, заткнутого за пояс, и заспешила навстречу мужу, который был явно не в духе, она чувствовала это даже на расстоянии. Было ей около сорока, румяное лицо ее пахло свежестью и кумысом, и груди были тугими, выказывая, что женщина либо на сносях, либо кормит младенца, а может, одновременно пребывает и в том и в другом состоянии.

– Надеюсь, никаких ЧП? – ее блестящие как чернослив глаза смотрели с неистребимым оптимизмом, а голос был доброжелателен и нежен.

– Никаких, – буркнул он. – Вали юрту.

Она было ухватилась за поводья, но он грубо вырвал их из ее рук.

– Что значит: вали юрту? – удивилась она. – Зачем?

– Переезжаем, вот зачем!.. Ну, что уставилась? Так и будешь сидеть в этой сырости, подолом подметать болотные кочки?.. Кобыл пора ставить на дойку – вот и переезжаем.

То, что дойные кобылы здесь ни при чем, коню было ясно, а жене табунщика и подавно.

¹ Кошма, покрывающая верх юрты, служащая как для выхода дыма, так и для проникновения света

Стараясь не задеть самолюбие старика, она тем не менее высказала свое недовольство:

– А может, хватит, а? Кочевать с места на место... Что ни день, то кочевка. Бежим и бежим от людей. Осталось к ледникам откочевать.

– Все сказала? А теперь – дай аркан! И дочь разбуди. Хватит дрыхнуть... Женщина не стала пререкаться. Подняв полог, ушла в юрту. Шерубай спешился, подтянул подпруги. Снял кожаный мешочек, висевший под карнизом, взболтнул приторочил к седлу.

– Сян... а, Сян! Вставай, доченька, – послышался негромкий голос женщины. – Пора... а то отец сердится.

Старик бросил на двери косой взгляд:

– Асем! Прихвати уздечки.

Лопоухий карапуз, путаясь в подоле Асем, нагишом взглянул из юрты. Старик подхватил его на руки, пощекотал бородой теплую детскую плоть. И пока мать привязала к седлу уздечки и волосяной аркан, малыш выгибался от счастья и хохота в отцовских руках.

– Собери свой скарб. Сиди наготове, – он передал ей малыша. – Пойду искать рысака темно-рыжего. Запропастился куда-то, со вчерашнего дня не видать. Сян пусть едет следом.

– Рысак... – проворчала Асем, впрочем, вполне дружелюбно. – Дохлая кляча, а не рысак. Давно пора на живодерню. Что, надеешься, он тебе приз принесет на байге?

Старик поглядел на жену исподлобья:

– Он тебя отвезет... к твоей родне. У него сил хватит.

Взобрался на седло и пришпорил коня.

Мальш скусился, что отец не взял его с собой, потом на всю округу разревелся. На крик из юрты, почесывая живот, вышел еще один голодранец, чуть старше, но такой же горластый. За ним появился третий говнюк, за третьим – четвертый. И теперь все четверо канючили, прося айрана.

– Да заткнитесь вы!.. – возмутилась Асем. – Ни свет ни заря подавай им айран. Сейчас вот отец приедет, он такого айрана вам даст, такого айрана – себя позабудете!..

3

Займка жила ожиданием. Сидели в сборе, на узлах. Вертолет где-то запропастился.

Мишель, подставив брюхо солнцу, лежал, потел, щурился в безмятежное небо. Под башкой между тем был сундук, ноги мешок подмяли. А ну сбежит шмутьишко, да и денежки заодно уплывут. Голенища изопревших кирзовых сапог вывернул наизнанку, сушить себе под нос поставил. Здесь же портянки развесил – для духовитости.

– Да убери ты эти чертовы вонючки! – не выдержал Бескемпир и пнул в сердцах обувку Мишеля. Один сапог прямиком влетел в мерцающие угли костерка. Мишель и ухом не повел – там от сапог одно название осталось плюс запах, свои вещички он занашивал до полного износа. Он лишь почесывал короткопалые ступни одна о другую, жмурился будто кот – ну, не мурлыкал если, так насвистывал. И Бекет не стал вытаскивать обувку из огня, хоть искры брызнули

ему чуть ли не в лицо. Он держал над углями деревяшку, похожую на осьминога, поджаривал ее то с одного бока, то с другого, колупался в ней ножичком. Когда от горького дыма чадившей подошвы стало дышать невмоготу, все тот же Бескемпир, чертыхнувшись, вскочил с места, поддел рукой дымящийся сапог и запустил его подальше.

– Когда Всевышний избавит меня от тебя, пожертвую ему бутылку, – сказал он Мишелю с предельным чувством, на какое был способен.

– Зачем Всевышнему? Пожертвуй мне.

– Держи карман шире!

– А что? Сапог, он хоть старый, но не дешевле бутылки, – Мишель пощелкал пальцами. – А не то возьму деньгами, только без мелочи. Копейки себе оставь. Глаза прикрыть, когда отбросишь копыта.

Он не успел еще рта закрыть, как пачки красненьких нераспакованных десятков шмякнулись оземь в опасном соседстве с огнем. Мишель в ужасе вскочил с места, судорожно подхватив рюкзак. Из хаты вышел Жакып. Леся швыряла ему вслед как жалкий мусор пачки денег.

– Только не ссориться... Только не ссориться!.. – запрочитал Мишель, остекленевшими глазами глядя на деньги, готовые гореть синим пламенем. – Уберите их от огня.

Жакып не обернулся даже.

– Уходишь? – спросил Бекет, защелкнув ножик-складышок, которым ковырялся в коряге.

– А!.. – махнул рукой Жакып. – Живы будем – не помрем.

– Присядь на дорожку. Обычай все же...

Жакып поморщился: мол, не до обычаев, но вытащил папиросу, потянулся к угольку, чтоб закурить.

– Да, – вспомнил Бекет. – За мной должок, – и, похлопав по нагрудному карману, вытащил деньги. – Расписку оставь себе, на память.

Жакып не ответил. Машинально скрутил в трубочку одну из десятков, сунул ее в огонь и, когда она занялась пламечком, прикурил. На Мишеля жутко было смотреть.

Ты смертен. Спеши, соучаствуй
В тревожном житейском пиру.
А деньги? В них видимость счастья –
Они словно пыль на ветру.

И все-таки жечь их не стоит...
Деньжата, поверь, ни при чем,
Когда тебя жизнь удостоит
Увесистым кирпичом.

Бескемпир и тут не мог не встрять со своими стихами. Но высокого стиля до конца выдержать не сумел, выдал все-таки две подзаборные строчки:

Вместо этакой утхи
На заду б прикрыл прорехи!..

А Жакып его и не слышал. Десятка дотлевала в его руке, пока не обожгла ему пальцы. Был он небрит, неухожен, щетина седыми клочьями торчала на подбородке и щеках. Глаза ввалились – ни огня, ни желания, лишь беспросветная тоска.

«Сколько же лет ему? Сорок? – подумал Бекет. – Ни кола, ни двора, ни любимого дела. Была страстишка – деньги грести под себя. Что ж, до поры до времени это грело. Отчего же теперь согреть перестало?»

– С прошлым, значит, решил расплеваться? – вздохнул Бекет.

Но и его Жакып не слышал. Окурок папиросы притушил о черную подошву сапога, напоминавшую немытую ступню Мишеля. Плюнул на угли. Из хаты доносились причитания Леси. Слов не было слышно, да и в словах ли суть?

– У мужа с женой, что мир, что ссора – все скоро, – Бескемпир опять потянуло говорить разговоры. – Вот не зря твердят: ревнуй не ревнуй, а насильно мил не будешь...

Жакып молчал. Помалкивали и все остальные. Бог весть чего наговорил бы еще Бескемпир, но тут тишину нарушил стук копыт, и на тропинке показался Шерубай, и Бескемпир сюда направил поток своих слов:

– О-о, кого мы видим!.. Ассалаумагалейкум! – Он смотрел на старика, будто это был его близкий родич, идущий по крайней мере из Мекки. – Добро пожаловать, аксакал, добро пожаловать.

– Э-э, да это никак Бескемпир? – усмехнулся старик. – Ну, не веки же вечные нам с тобой волков пугать ночами. Ружейными выстрелами заочно. Пора и свидеться.

– Ох и надоели мы вам, аксакал! Вы тайгу оберегаете, мы ее разоряем.

– Да уж... дай вам волю.

– Но теперь – всё. Теперь вы от нас избавитесь.

– Неужели? Сколько раз я молил Всевышнего, чтоб он турнул вас отсюда.

– Ну, прям уж так – турнул. Мы, поди, тоже какую-то пользу приносим, – и Бескемпир подхватил поводья лошади. – Милости просим к нашему костеру.

– Некогда. Дело срочное.

Но Бескемпир уже видел жанторсык¹, притороченный к седлу, лишь крепче ухватился за поводья лошади и чуть ли не простонал:

– А что если я... отстегну эту баклажку?

Шерубай, правда что, не сказал, мол, «отстегивай», а Бескемпир не стал ждать разрешения. Разомлевший Мишель, лишь услышал плюханье кумыса в бурдючке, мигом вскочил на ноги. И пока Бескемпир отстегивал вожделенную ношу, Мишель разочек обежал вокруг лошади и начал было со стариком вполне светскую беседу:

– Это у вас жеребец или кастрат?

– Ты подержись за яйца и узнаешь, – старик за словом в карман не лез.

А Бескемпир уже присосался к бурдюку.

– М-да-а... – сказал он, отвалившись от бурдючка. – Кумыс, однако, не доспел.

Но торсык между тем отдал не хозяину, а пустил по кругу.

По возрасту первым должен был снимать пробу Жакып, и хоть ему было не до этого, но даже он не мог устоять перед таким наваждением – приложился к напитку. Бескемпир только и ждал, тут же бросился всех знакомить со стариком, будто бы Шерубай их видел впервые.

¹ Походный кожаный бурдюк для кумыса.

– Итак, аксакал, вся наша бригада в сборе. Начнем с того, что натянул себе на голову торсык и оторваться не может. Наш бригадир, старшой, Жакыпом величают. Гурман, пожрать любитель, в один присест умнет барана. Собственно, из-за его непомерного аппетита мы и снимаемся с места – чтоб следовать за вашим кочевьем... А этот, что важнее всех, Бекет. Из пришлых. Говорят, он ученый. Ну, ученость его мы не проверяли, а то, что он как бык волохал в леспромхозе, о том знает каждый. Теперь он в начальники вышел. О-о, с ним не шути! Главный лесничий лесхоза...

Старик не без интереса смотрел на Бескемпир: это ж надо ухитриться сказать столько слов! А тот молот без удержу:

– Вот эту рыжую надутую кишку зовут Мишель, почти как француза. Хотя вообще-то он Мешел¹, но это видно невооруженным глазом. Как он ухитряется держать такую форму? И это просто. Его ежедневный рацион – пять литров спирта. И каждый литр он заедает пятью мисками похлебки.

– Все? – насмешливо спросил старик и указал на бензопилу. – Это... тоже член вашей бригады? Ну, и какой аппетит у нее?

– Никому не известно! Она жрет без устали. Всю тайгу проглотит – не подавится.

– Вот-вот, не подавится, – вздохнул старик. – Ты вот что: сперва мой торсык привяжи к седлу, а потом... Там, в долине, лежит лошадь. Сама она встать не может. Помогите ей. И поднимите во-он на ту сопку.

– Поднять-то поднимем. А какой нам навар от этого? – оживился Мишель.

– Навар, говоришь?.. Твое-то брюхо в накладе не будет.

4

...Но темно-рыжий так и не встал. Там кожа да кости остались. Конь лишь тяжело вздыхал, да из глаз его выкатывались бессильные старческие слезы.

– Может, он покалечился?

– Ага, до смерти. Во рту ни одного зуба, – сказал Жакып, оттянув нижнюю губу коня. – Никак, сдурел старик! Поднять эти живые мощи? Да ни в жизнь!..

Дергая за хвост и гриву, парни с грехом пополам развернули коня головой к низине, надеясь, что он, влекомый тяжестью собственного тела, сделает попытку встать. Но конь не шелохнулся. А тут еще Шерубай надел на немощную голову коня серебряную уздечку. Нет, в самом деле, сдурел старик. И Бескемпир, конечно же, не удержался, вмиг сочинил по этому поводу какие-то идиотские стихи, они вызвали взрывы хохота и оскорбили старика, тот налился багровостью и чуть не треснул с досады.

В разгар всех этих событий к ним подъехал парень, ведя в поводу нескольких коней. Бекет его видел впервые. Был он юн и заносчив, будто один по всей округе мог мочиться стоя, а остальные и не знали, как ширинка расстегивается. Правда что, он поздоровался с Бескемпиром, и то – кивком головы, а на остальных – ноль внимания, что почему-то возмутило Бекета. Нет, ну ты глянь на него, как он морду ото всех воротит!..

А старику пришла в голову новая блажь.

– Значит, так: садитесь на коней, – подал он команду. – И вон от той сопки сразу с места в карьер! Да с гиканьем, с криком скачите в нашу сторону. И не сбавляя ходу дуйте в аул.

¹ Рахит.

Бекет все смотрел на парня-наглеца, пытаясь пригвоздить его взглядом, привести в чувство. Как назло, и тот лупал на него глазами. А разоделся-то как, разоделся! Борик из соболя, душегрейка на беличьем меху, бархатные брюки и совсем уж щегольские красные сапоги. Но лицо, несмотря на заносчивость, мягкое и вроде бы доброе. А глаза голубые, какие редко бывают у казаха, и этим парень похож на Шерубая. Впрочем, сходства больше никакого: губы тонкие, брови острые и ресницы непомерно мохнатые, длинные.

– А ты стой здесь! – услышал Бекет команду старика. – Силища в тебе, поди, бычья. Будешь подталкивать лошадь.

Куда подталкивать, зачем?.. Было видно, что замысла старика никто не понял, но с развеселым гиканьем помчались к сопке. Бекет остался рядом с темно-рыжим, глядя в его слезящиеся немощные глаза.

Голова коня была большой, как сундук, и тяжелой. Тонкой жилистой шее был непомерен этот груз. Глаза потухли, в них отрешенность, бока впали. Лишь изредка вдохнет со стоном, как старый, одряхлевший человек. Не ездившему на коне, не знакомому с лошадьми Бекету стало жаль эту рыжую износившуюся лошадку. Он, может быть, впервые осознал, что в мире существует немощная смерть от старости. И он подумал, что чем так вот лежать живым трупом, лучше уйти из жизни чуть раньше, потому как и помереть нужны силы.

Со стороны сопки послышалось гиканье. Темно-рыжий невольно дернулся, пытаясь встать, но окоченевшие передние ноги не гнулись. Бекет помог коню согнуть их и поставил лошадь на колени, как корову.

Стук копыт приблизился, ноздри темно-рыжего затрепетали. А когда послышался пронзительный, призывный вопль старика, конь заржал.

А всадники стремглав неслись, обрушивая на Бекета топот, и темно-рыжий вздрагивал от стука копыт. Бекет видел Мишеля, тот, опустив или выронив поводья, распластался на лошади, судорожно вцепившись в гриву, и орал благим матом то ли от страха и безвыходности, то ли от того, что велено орать. Бекет засмотрелся на Мишеля и не заметил, как темно-рыжий встал на ноги. Мчащаяся лавина словно бы подхватила едва вставшую на ноги лошадь, Шерубай и тот молодой заносчивый парень зажали между своими лошадьми темно-рыжего и увлекли его в бешеном галопе, слегка похлестывая по шее и бокам.

А под Бекетом вдруг оказался ненормальный конь, он кидался из стороны в сторону, и стоило чуть-чуть ослабить поводья, он, закусив удила, бросался вскачь как одержимый, причем не вслед за всеми, а бог весть куда. И Бекет отстал от всадников. Что-то не ладилось у него с лошадью. Он почему-то не мог попасть ногами в стремена, и его мотало, как навьюченный мешок, едва не отбив ему внутренности. Стыдясь стороннего взгляда и боясь свалиться с коня, он перешел на медленный шаг.

На опушке его поджидал все тот же заносчивый парень. Пританцовывая верхом на лошади, он объехал вокруг Бекета, удлинил стремянный ремень, и тут Бекет понял причину своих неудач: под ним было детское седло.

– И откуда неумехи такие берутся? – насмешливо спросил парень. Голос у него был высокий и звонкий, девчоночий голос.

Бекет опешил даже, но тут же и отбрил гордеца:

– А у вас тут все такие выскочки, как ты? Пасет пять коз, а свистит – всей округе слышно.

– Еще что скажете?

– Шустрый ты шибко. Поперек батьки в пекло лезешь. А ну как нос прищемят?

– Да?

– Да, обидно будет: такую красоту нарушат. Смазливый ты шибко. Как звать-то?

– А это знать не обязательно.

– Ох и дотянусь я до тебя да ка-ак огрею по загривку.

– Ну, это сперва дотянуться надо, – и, приблизившись к Бекету, он ударил его

стременем по голени.

Бекет чуть не взвыл от боли, нога его выскользнула из стремени и, онемевшая, уже не могла попасть на место. У него не было даже кнута, чтоб дотянуться до нахала. А тот крутнулся вокруг него еще раз и, не дав прикоснуться к себе, расстегнул под Бекетом враз обе подпруги. Седло соскользнуло с лошади, и Бекет вместе с седлом плюхнулся наземь.

– А тебя как зовут? Не забыл?

И джигит, озорно рассмеявшись, ловко подхватил лошадь Бекета под уздцы и был таков.

5

Аул табунщика, перекочевавшего на новое место, смотрелся весьма и весьма недурно. Добротная юрта, над очагом дымок курится, на очаге – казан, в нем варится что-то очень даже аппетитное. Здесь же на зеленой травке алаша¹, по краям которых заманчиво разбросаны атласные подушки, каждая не меньше копыны. Тишину нарушает лишь звон колокольчиков на стригунках. К веревке, натянутой на земле на кольях, привязаны кобылы да пяток уже подросших жеребят.

Темно-рыжий все же дотянул почти до юрты и здесь свалился бездыханный. На него уже был наброшен прощальный ковер. Конь лежал, подобрав под себя все четыре копыта, будто готов был вскочить и бежать на тот свет по первому зову своего лошадиного бога. Когда Бекет с седлом на плече, изойдя горячим и холодным потом, наконец-то добрался до юрты, парни уже выкопали могилу коню. Шерубай вырвал по волоску из гривы и хвоста усопшей лошади, посплюнявил, припрятал на долгую память. Ребята дружно свалили останки темно-рыжего в яму и закопали его в какие-то минуты. Мир праху твоему, коняга!

Бекет впервые видел, чтобы с такими почестями отправляли на тот свет коня. А старик долго мылся у родника. От мытья он был свеж и полыхал румянцем, будто вода родниковая передала ему часть силы таежной.

– Не всякого из нас похоронят с таким почетом, – вздохнул он, настраиваясь на философский лад.

Усмешка передернула лицо Бекета. Старик вспылил, полыхнув на него злой синью глаз.

– А поаккуратней нельзя? Я не помер еще, чтобы седло мое бросали навзничь, – и старик прикрикнул, будто кнутом огрел Бекета: – Поставь седло как надо!

Бекет поморщился, но отделил потник от чепрака, перевернул седло и бросил на вьючную седелку. Мол, подавись своим седлом... Старик и это взял себе на заметку.

У дастархана, расстеленного на траве, старик сел на почетное место, остальным предоставил садиться кому куда вздумается, даже не пригласил к трапезе.

¹ Дюмотканый безворсовый ковер.

Бекет сел на самое незавидное место, рядом с посудой. А вот Мишелю было все равно – почтенное место он занял или не очень. Главное, перед ним была гора баурсаков. И стоило ему лишь плюхнуться рядом с ней, как та гора словно бы подломилась и стала оседать. Старик – он сидел будто каменный идол, минуту-другую смотрел, как необъятный рот Мишеля заглатывает баурсаки, смотрел, как смотрят фокус, он даже застыл в какой-то момент в полусонном оцепенении, замороженный виртуозной работой едока. Но вдруг очнулся и, подняв края дастархана, все баурсаки, бывшие на скатерти, переместил поближе к фокуснику. Но баурсаков явно могло не хватить.

– Сян! – крикнул старик.

Из юрты вышла девушка с новой горой баурсаков, она высыпала их перед Мишелем. Бекет глазам своим не поверил – может, тут двойники завелись? У девушки были глаза того дерзкого парня, с которым Бекет только что выяснял отношения. Глаза прозрачные и голубые, как это небо. И короткая, почти мальчишья, стрижка. И миловидное лицо. Она без тени смущения села рядом с Бекетом и начала взбалтывать кумыс. Первую пиалу подала отцу, последнюю – Бекету. При этом глянула на него открыто и смело, как бы кольнув его длинными ресницами, и прыснула в кулачок.

Шерубаю явно не понравилось, что дочь в открытую зубоскалит с незнакомым человеком, и он осадил ее взглядом. Но заметив, что Бекет сидит будто в воду опущенный, успокоился, взял последыша на колени и зажмурился от удовольствия, когда тот стал теребить ему бороду.

А Бекет чуть ли не силком заставлял себя сидеть за дастарханом. Он был и раздосадован, и смущен, и глаз не мог отвести от девушки. Если минуту назад он был оскорблен, что занял место как бедный родственник, с краешку, рядом с посудой, то теперь он втайне даже ликовал, что сидит колено к колену с этой заносчивой стрекозой. Странно, у него было такое ощущение, будто он впервые в жизни так близко рядом с девушкой, это взбудоражило его мучительным приливом чувств и желаний. Уже то, что она, взглянув на него, засмеялась – пусть озорно, пусть ехидно! – уже это одно излучало тепло, которое берет начало у домашнего очага и которое может даровать нам только женщина. А еда, которую он принимал из ее рук, как бы сближала их незримо, посылая таинственные токи, которые одна лишь женщина может послать мужчине. Светлая челка падала ей на лицо, будто шторкой закрывала от него ее щеку и глаза, всякий раз, когда она наклонялась, подавая кумыс, он с нетерпением ждал, когда она выпрямится снова и он опять увидит ее удивительно нежную щеку и смешливые озорные глаза. Ее мужская одежда, в которой она недавно гарцевала на коне, надежно скрывала от нескромных глаз хрупкую прелесть ее зачинающейся женской красоты. А девичье одеянье ей так к лицу! Эти коротенькие сапожки, они подчеркивают округлость коленей, а фартук как бы специально накинута поверх свитера с глухим воротом, чтобы рельефнее смотрелись ее груди и нежная линия шеи.

У лопоухих рыжих пацанов – ну никакого сходства с матерью! Все в отца, зеленоглазые и жутко нахальные крепыши. Они парней чуть ли не оседлали, и видно было, что все их терпят за дастарханом лишь из уважения к старику. Один из пятилетних огольцов намазал маслом баурсак и привязался к Сян, пытаясь насильно разжать ей тем баурсаком губы. При этом стащил из ее камзола шо-

коладку, увазякался как только мог и, ткнув липким пальцем в Бекета, спросил громким шепотом:

– Это жених твой?

Сян улыбнулась и дала шлепка нахалу. Тот в отместку показал Бекету коричневый, в шоколаде, язык и скорчил рожу, выказав явное неуважение. Нет, ну все кому не лень хотят его здесь унижить! Бекет, давясь кумысом, допил его и, подтолкнув пиалу на край дастархана, перевернул ее вверх дном. Старика и это видать, не понравилось.

– Асем! – окликнул он жену. – У тебя в казане что – камень варится? Ты слышишь, Асем?..

Бекет даже вздрогнул – так неожиданно прозвучало заветное имя. Хотя чем эта Асем напоминала ту? Разве что смородиново-черные глаза, а в остальном... Смотри, как эта бегаёт рысцой между казаном и чайником и дастарханом. Конечно, в этой нарочитой суетливости проглядывает и кокетство, и желание во что бы то ни стало угодить мужу.

Странно: ни лицом, ни фигурой Сян не похожа на мать, и слишком молодо смотрится жена старика для такой взрослой дочери. Никак старик на склоне лет женился снова, обзавелся молодой женой – токал. Та, давняя любовь по имени Асем на мгновение возникла в памяти, слегка взбредила душу, исчезла. Рядом была Сян – сама свежесть и молодость.

– Что ж, парни: худо ли, бедно ли, а дело мы сделали, – табунщик окинул лесорубов своим пронизательным взглядом. – Мясо еще не поспело, время есть, поговорим по душам? Я думаю вот о чем: тайга – не место для прогулок. И каждый из вас приехал сюда не просто так.

Задремавший было у дастархана Мишель уловил одно слово – «мясо», очнувшись, с надеждой воззрелся на старика.

– Ты пока спи, спи, – успокоил его хозяин и для начала спикировал на Жакыпа. – По-моему, про тебя тут было сказано: наш бригадир пожрать любитель, в один присест умнет барана... Кажется, так, да?

Жакып даже покраснел:

– Брехня!..

– Быть едоком отменным – тоже искусство. Так что не скромничай: вон видишь валух¹? – недалеко под сосной дремало десятка два овец и коз. – Или тебе кастрат не годится? Тогда вали производителя. Да бери не трехлетку, а того, серого, что покрупней. Иди, лови... А это тебе – литров на пять тут хватит, – и он, не глядя, вынул из кармана красненькие, швырнул Мишелю. – А на закуску... чтоб жеребца от мерина мог отличить... Закуска твоя между ног у серого мерина.

Следующей мишенью был Бескемпир, он это понял. Что ж, старик не церемонится с ними и, хоть это невежливо по отношению к хозяину дома, но придется дать отлуп. Ну-ну, подумал Бескемпир, что он там отмочит в мой адрес?

– Торсык кумыса – это все, на что ты мог позариться, – старик решил казнить его презрением. – Асем, у тебя там остался айран? Возьми бурдюк – да не бурдюк, а тулып² – и влей в него все, что ни есть в этом доме. Да взгромозди на круп вот этому коняге, у которого язык без костей. Хотя... какой он коняга? Доходяга... Ему не то что бурдюк – дай бог пиалу донести до рта не расплескавши...

¹ Кастрированный баран.

² Посуда, сшитая из целой шкуры.

Ну что ж, старик, сам напросился. Получай. И Бескемпир поманил к себе пальцем лопоухого, рыжего – того, что постарше, он как раз неумело нянчил в руках домбру. В руках Бескемпира домбра язвительно зарокотала струнами:

– Ах, аксакал, аксакал!
 К нам ты с нуждой прискакал.
 Мы тебя встретили,
 Как родного приветили,
 Мы тебе помогли,
 Как смогли.

А ты нам подсунул барана паршивого –
 Хромого, вонючего, вшивого.
 Слушай, старик: я буду не я, –
 Это же не баран, а свинья!

У старика аж челюсть отвисла, он не ожидал, что получит отпор, и не сразу собрался с мыслями.

Токал оказалась проворнее его:

– Ты, пятистарухин¹! Языком не запутайся в юбках. Он у тебя шибко длинный, язык-то. Смотри, клюкой отдавят.

– Не бойсь! – обрел старик дар речи. – Его языком, как помелом, кошару можно вымести.

Вроде бы все? Бекет не ждал своей доли в дележе почестей и похвал, но и ему старик отвалил сполна, не скупясь:

– Пятистарухин назвал тебя пришлым. А человека без роду, без племени грех обижать. Ты не бойся, мы тебя не тронем.

Нет, ну ехидна, а?.. Язва... Бекет уже сыт был по горло издевками, он бы встал и ушел, но опасался и тут допустить какой-нибудь промах и снова стать мишенью для насмешек. А Бескемпир решил, как видно, отбрить старика и за себя, и за Бекета.

Домбра опять издевательски рокотнула в его руках:

Ваша учтивость не знает предела:
 Гостя шпыняете вы то и дело.
 Пять кобылиц ухватили за вымя
 И возгордились делами своими.
 Спеси-то, спеси – на пять стариков,
 Только б унижить нас, дураков.
 Мне колыбельную пели старухи,
 А вы тем старухам – по оплеухе.
 Будто бродягу парня обидели,
 Хоть этого парня впервые увидели.
 Ах, женеше! Ваша дочка – невеста,
 И над парнями издевки – не к месту:
 Вдруг среди них – будущий зять?
 Локти придется после кусать!..

¹ Бескемпир – пять старух.

Старик, затеявший эту свору, беззвучно трясся от еле сдерживаемого смеха. Токал невольно вызвала огонь на себя, а этот шалопай и насмешник из-под пяти старух, видать, израсходовал еще не весь свой порох. Но и токал попала шлея под хвост. Она швырнула на стол глубокую чашку с жирной кониной и разве что не прожгла взглядом Бескемпера:

– Уж больно ты шустрый, как я погляжу!
Что – захотелось пройти по ножу?
Снохи аула, видать, разленились,
Если старухи тобой разродились.
Зятьев моих вздумал он защищать!
Скажи еще: ты – мой будущий зять...
Ты поискал бы короткой дороги,
Чтоб побыстрее унести свои ноги!..

– Все, хватит! – сказал Шерубай, беря в руки ножичек с костяной желтой ручкой, и голос женщины тотчас умолк, будто отрезанный тем самым ножичком. – Медведь ревет, корова ревет, а кто кого дерет, сам черт не разберет, – подвел он итог айтысу, но видно было, что женой остался доволен.

Ну и компания подобралась, подумал Бекет, языкастые да горластые – мне, молчуну, такие не с руки. И когда Шерубай начал читать благодарственную молитву, Бекет вздохнул с облегчением: застолье, слава Аллаху, кончилось, и никого больше размазывать по стенке не будут. А вообще-то с ними надо быть поосторожнее, думал он, покидая дастархан. Это тебе урок на будущее.

Глава девятая

1

Серый баран блеять начал чуть свет. Да и Бекету, как тому барану, не спалось. Керауыз, похоже, вообще не спал. Ну, псу это положено по долгу службы... Вот так они втроем, невыспавшиеся, лупали спозаранку на солнышко, тоже едва продравшее глаза.

С вечера прошел ливень, напитав тайгу сыростью, укрыв низины зябким туманом. Вершина Аюлы сменила за ночь снежную чалму, небо стало еще голубее. Но это там, в заоблачных высях. А здесь, в таежных распадах, даже валежник словно сочился потом, как после обильного чаепития. Сходство дополнял и едкий дымок будто бы от самовара: рабочие-сезонники, привыкшие все делать спустя рукава да через пень колоду, жгли вчера мусор, щепу, и надо бы потушить по-хорошему, но, видно, решили, что ливень потушит... В довершение ко всему на солнечной стороне вновь начатой делянки шастала скотина – такая же зловредная, как и старик, ее хозяин. Выпас ему тут, что ли, возмутился Бекет. Но возмущаться в одиночку было скучно.

– Мишель! А, Мишель!..

Дрыхнет, брюхо набивши.

Пес, глянув на Бекета, потрусил к речке, словно бы позвал его на водопой, но, видя, что за ним никто не следует, уселся в раздумье на излучине тропы. Во всех

шалашах сонное посапыванье, разве что пятый, крайний, Лесин шалаш тревожно пуст, и от этого еще тоскливей.

– Мишель! Чтоб тебя!..

Баран, будто ему были адресованы окрики Бекета, опять завопил, уставившись в пустое корыто. Что за ненасытная утроба! Шестым членом их бригады баран стал не так уж и давно, а глянь как вымахал!.. Курдюк, того и гляди, на заднице лопнет, и в боках раздался пошире, чем Леся.

Мишель, как жирная улитка, все же высунул нос из спального мешка, приоткрыв накомарник, но на всякий случай притворился спящим.

Бекета отчего-то разобрала злость:

– Эй, чудило! Ты не кастрат случайно?

– Случайно – нет. А ты?

– Могу дать подержаться.

– Много чести. А что это ты: с утра пораньше – о кастратах?

– Да говорят, они шибко любят скотину мужского пола. Таких вот... вроде этого, с курдюком.

– А-а... про этого спроси у Жакыпа. Он хозяин. А у меня... у меня пока что всё на месте. Мне мужские достоинства этого барана ни к чему.

– Может быть, может быть. Но поставь вас рядом – одного от другого не отличишь.

– Да ну! А ты сам не пристраивался рядышком? Зря. Тоже похож. Такой же воничий. И орешь ни свет ни заря...

Нынешний лагерь лесорубов – бывшая стоянка Шерубая. На вершине хребта и простора побольше, и комаров поменьше, да и речка под боком. И вообще лесорубы идут след в след за табунщиками: пастухи для них тропинки проторили, очаги вырыли, даже дровишки оставили им – не тащить же за собой лишний груз. А те и рады, те даже такую малость брали в расчет, когда волей-неволей приходилось отрывать задницу от насиженного места. Здесь даже воробьи свой интерес имеют: глазницы конских черепов в чащобе для них желанное гнездо, из-за таких квартир – постоянные драки... А баран орет как заведенный и словно вяжет кружева вокруг коновязи, ветвистой, как лосиные рога. Э-э, да он же привязан за него волосяным арканом. Бекет хотел было отвязать его, но раздумал: эта скотинка рогатая вместо того, чтобы пастись, будет шастать по шалашам и шариться в них. Вообще-то его пора бы остричь, в июльскую жару да в такой теплой шубе – небось взвоешь.

– Эй ты, чудило! – опять стал доставать Бекет Мишеля. – Ты остриги его, что ли. Или зарежь.

Можно подумать, что Мишель тотчас же вскочит и кинется выполнять указания Бекета.

– Ну ты хотя бы пастись его можешь отправить?..

В конце концов, израсходовав порох впустую и став еще раздражительнее, Бекет отлип от Мишеля, пошел на водопой.

Раздражение копилось давно, исподволь, серый баран тут был ни при чем. Да и Мишель тоже. Просто под руку подвернулся. Бекет не мог понять, отчего это их бригаде, их знаменитой «Дружбе», с тех пор как переехали на Аюлы, стало тесно в пяти шалашах. Семь лет им не было тесно в одной-единственной землянке, а тут разбрелись по закуткам, и глаза бы их не смотрели друг на друга. Даже Леся

и Жакып – семья, казалось бы, а разбежались по разным шалашам. Все думали вначале, что это обычная ссора, милые бранятся – только тешатся. Не тут-то было! Их и уговорами, и заговорами подталкивали друг к другу, и так, и этак пытались свести их и помирить, но что-то, видать, там непоправимое сломалось, и не сложить, не склеить того, что было, а теперь безвозвратно ушло. Жакып, как олень после гона. Олень, которого побили, прогнали с брачных игрищ, лишили радости и сил. А Леся в трауре, будто мужа похоронила, вся как в воду опущенная никого и ничего не слышит, ни на кого не глядит. И лишь столкнувшись лицом к лицу с Бекетом, вспыхнет разом, будто ее кипятком обварили, и снова сникнет в унылой тоске. Он понять не мог, чего это она. А там и понимать-то нечего. Женщине, если ты ей не мил, хоть горы сули золотые – все без толку. А уж если она полюбила, то это как пожар лесной – не загасить. Он ее сторонился, чтоб от греха подальше. Он даже сбежал из бригады. Но его новая четырехкомнатная квартира на центральной усадьбе была ему не в радость. Из просторных хором его неодолимо тянуло в прохладу шалаша, где может невзначай случиться обжигающая радость. И жидкая баланда у костра, беззлобная грызня парней на сон грядущий, и вечный неуют, когда под головой вместо подушки кулак или полено – ну вот тянуло его с неодолимой силой ко всем этим прелестям таежной жизни, и дни, когда он знай себе махал топором, защибая лихую деньгу, казались счастливыми и беззаботными. Сила есть – ума не надо, и никакой тебе ответственности, и никаких проблем... Послушай, а ведь это и порождает тех самых тупарей да «мерзавчиков», которых ты готов так люто осуждать.

Да, были беззаботные денечки. Теперь не то, теперь забот невпроворот. Чтобы из края в край объехать, все шесть лесничеств, не одному коню собьешь копыта. Разве что на машине... И то – где раздобудешь такой вездеход? По уму надо бы к охотоведам идти под начало лесхоза, это чтобы хозяин был один. Пытались внушить сие высокому начальству, но внушить не смогли. Оно, может, и к лучшему: и без того лесхоз взвалил непосильную ношу, стараясь в комплексе решить задачу: заткнуть глотку «Казлеса» древесиной, обреченной на гибель, и вопреки всему увеличить посадки саженцев.

Куцехвостый гнедой – он был стреножен для порядку, чтоб не бродил где ни попадя – вскинул голову, выжидательно посмотрел на Бекета. Керауыз подпрыгнул к морде лошади, заигрывая с ней и ожидая, что Бекет будет ее запрягать, но, не увидев в руках Бекета упряжки, утратил интерес к гнедому, потрусил к речке. Бекет тоже направился следом.

Спустившись к речке, он снова увидел пса и опешил даже в какой-то миг: пес с жадностью вылизывал пустое, кем-то оставленное ведро. Господи, и ведро бесхозное, и собака брошена на произвол судьбы, и сами эти люди, поди, давно уже не соображают, живы они или нет.

Впрочем, тут же он встретился глазами с человеком, к которому все это никак не относится. Щеки полыхают, как бывает после парилки, губы дрожат от волнения, а глаза – не глаза, синее пламя. Она потянулась рукой к щеке Бекета. Её пальцы не знали ни духов, ни кремов, ни лосьонов, им топорище ласкать привычней, чем щеку любимого, потому как их прикосновение царапало будто наждак или язык коровий, вызывая вполне естественный озноб. И лишь когда она прижалась к нему горячей упругостью своих груди, его пробрал озноб совсем иного свойства. А она губами, всем лицом и всем телом тянулась к нему в

молчаливой безысходной нежности. Потом вдруг сникла, бессильно опустилась на землю и, чуть ли не разрывая тесные голенища резиновых сапог полными икрами, села, обняв колени:

– Уйду.

– Куда?

– Куда глаза глядят. Мне здесь нельзя. Беременной женщине валить деревья как-то не с руки. Да-да, не удивляйся. Уже два месяца. И вообще... Не по себе мне здесь.

А он все время оглядывался на шалаши. Керауыз заискивающе крутился между ними, желая хоть как-то подсобить, облегчить их участь. Но когда он подвернулся женщине под ноги, она так двинула его пинком, что он не взвизгнул даже, а охнул – не столько от боли, сколько от удивления, что ему чуть не отбили дыхалку. Но суетиться перестал. Лишь отбежал в сторонку, как бы собираясь караулить этих двоих, чтобы вовремя предупредить об опасности. Кто-кто, а он-то знал всю подоплеку жизни этих пятерых и на рожон не лез.

2

Трава была по пояс, она отяжелела от росы, и пока Бекет с Бескемпиром дошли до делянок, брюки у них стали мокрыми, а сапоги раскисли, как сыромятина в чану для выделки кожи. Воздух пропитался дымом вчерашних костров, в которых жгли щепу и хвою, от запаха гари и древесной смолы, как на пепелище, першило в горле, и голова побаливала от угара. Знобило. И вообще было мерзко. Бекет сел на валежину, снял сапоги, стянул с себя набухшие брюки, взялся выжимать штанины. Бескемпир, вечно чем-то недовольный, помрачнел вконец, но попрекнул в дурном настроении Бекета:

– Ты что – не с той ноги встал? Скукожился, как вошь на гребешке.

Бекет лишь хмуро глянул на него и промолчал. Бескемпир какое-то время разглядывал Бекета: погасшие, усталые глаза, в них тоска беспросветная. И не надо б цепляться к нему в эту минуту, но Бескемпир не был бы Бескемпиром, если бы так вот просто отвязался от человека:

– Ты глянь-ка на него! Виски седеют... Думаешь, седина добавит тебе ума и святости?

Бекет и ухом не повел.

– Слушай, а у тебя башка как у лошади стала. Ну что ты раскис? Таких вот на живодёрню ведут...

– Заткнись, а!

– Ну и заткнусь, а толку что? Так я тебя хоть трепом своим отвлеку, а то ведь ты, неровен час, волком завоешь. Мишель на что тупарь, а ведь козлами вонючими нас обозвал.

– Вот и найди себе козу, – вяло отбрыкнулся Бекет. – А что? Чего тебе стоит – женись! Хоть какой-то толк от тебя в этой жизни...

– А ты злой, – сник Бескемпир. – Ты хоть и помыкаешь людьми, но зачем же бить ниже пояса.

Бекету стало не по себе.

Мишель и Леся ошкуривали сваленные деревья, кору и хвою собирали в кучу. Жакып один возился с бензопилой. Бескемпир направился было к нему, но тут же вернулся к Бекету:

– Придумал что-нибудь, а? Найди хоть какой-нибудь повод, чтоб они вместе съездили в город – Жакып и Леся. Не пойму я, но тут что-то не так, ты же видишь? Ну... до тебя хоть что-нибудь доходит, дубина ты стоеросовая?

«Вот пес зловредный! Меня попрекает, а сам бьет под дых... Или он мысли чужие читает?..» У Бекета аж захолонуло сердце. И боясь, что не выдержит, проговорится о сокровенном, он отвернулся. Будто в раздражении, будто в досаде. А в общем-то, и в раздражении, и в досаде...

По косогору, еще недавно густо поросшему листвяком, будто с косой прошлись, деревья лежали вповалку. Тягачи, бульдозеры и трактора, таскавшие бревна, издали походили на муравьев, да и весь их участок с хлопочущими людишками напоминал муравейник. Чуть ниже по склону рядом с надписью «Опасная зона» паслись лошади. А раз пасутся лошади, то и табунщик где-то рядом.

3

Со скрипом и воем «С-100» растаскивал бурелом. Он походил на неразумного навозного жука, забуксовавшего в раскисшей от дождей земле. Гусеницы прокручивались, увязая все глубже, терзая подлесок и выворачивая наизнанку огромные пласты дернины. Примчавшийся неведь откуда Шерубай приплясывал на лошади вокруг трактора и что-то кричал трактористу, пытаясь переорать весь этот вой и скрежет. Но парень, дергавший за рычаги, то ли не видел, то ли не слышал, то ли просто не принимал во внимание назойливого старика. Тогда тот кончиком курыка¹ ткнул его в бок. Тракторист нехотя обернулся. И тут же кончик курыка заплясал у него перед носом:

– Ты что ослеп, скотина? У тебя что – не глаза, а бельма?

– Ну, а если не бельма?

– Тогда разуй их, псина, оглянись!

Тракторист был колченог и словно бы приплюснут, будто его, как болванку какую, прежде чем выпустить в жизнь, тюкнули кувалдой по темечку. Он дотянулся ногами до траков гусеницы, прополз по ним в хвост трактора, задрав голову, глянул в небо, определил, откуда дует ветер, и, пристроившись по ветру, расстегнул ширинку и оросил фонтаном близлежащий куст.

Старик аж посинел от гнева и, с трудом сдерживая коня, ткнул курыком в поломанные ростки кедров-малолеток:

– Ты что – не видел их? Или что, по-твоему, они годятся только на то, чтобы на них поссать?

Тракторист и головы не повернул, лишь глаз скосил на старика:

– Ты в детство впал, папаня. Может, я могилу деда твоего порушил?.. Нет? Что же ты кипятишься? И что ты лезешь, куда тебя не просят?..

Шест старика был все же острым. Как бы там ссадины не осталось... Парень поморщился и в раздражении плюнул. На эти самые... ростки дерьмовые. И взяв хоть так реванш, с независимым видом влез в кабину. Но тут же ему будто кипятком плеснули в спину. Старик толстой плетью полоснул его между лопаток. Колченогий оцепенел от боли, даже слеза набежала невольная. Он смахнул ее запястьем, взял в руки тяжелый гаечный ключ и, целясь тем ключом в ненавистного старика, начал снова выбираться из кабины. Ключ он метнуть не успел. Старик так долбанул его лошадью, что колченогий рухнул с трактора вниз, как бревно.

¹ Легкий шест с петлей для поимки неприученных или пасущихся лошадей.

Бекет в самый раз подоспел к их конфликту. И у табунщика, и у его коня ноздри раздуты, глаза остекленели, грудь ходит ходуном. Не объявись Бекет, затоптали бы и тракториста, и трактор.

– В суд подам! – плачущим голосом грозил тракторист, весь в грязи и мазуте, растрепанный и жалкий, как побитая собака.

– Я тебя до суда пристукну, – и было видно, что старик не бросает слова на ветер. – Это, что ли, твой судья? – указал он кнутом на Бекета. – Так я вас одной веревкой свяжу и как баранов прирежу.

Тракторист, смекнув, что дело нешутейное, поджал хвост. Да и Бекет, видя, что старик прет напролом, как нечистая сила, тоже решил не ввязываться в драку.

– Вы хоть себя уважали бы, аксакал, – начал Бекет свою миротворческую миссию. – Такой достойный человек, и такие, простите, выходки.

– По Сеньке шапка, по дураку – колпак, – рявкнул старик и объявил: – Смотри-ка, а ты и разговаривать умеешь. Я-то думал, ты язык проглотил.

– Да язык без костей, аксакал. Языку дай волю, он будет молоть без умолку. А вы лошадей отогнали бы лучше отсюда. Все же – опасная зона.

– А у меня лошади неграмотные, трафаретов не читают. И по указке не живут. Он подоткнул под себя свой курык и подбоченился: мол, плевать на вас всех я хотел, а лошади мои – тем более, они здесь пасутся с давних пор. И на какой делянке пастись, им виднее.

Табун молодняка без провожатого бродил в тени деревьев, лакомясь сочной травой и уже подступаясь к тем зарослям, где хлопотали взрывники. А хлопотали они на самых крутых склонах, куда не могли подобраться тягачи и бульдозеры. Вот и приходилось бурелом и пни, что намертво вцепились в землю, взрывать динамитом, а уж потом растаскивать вручную. Не мог этого не знать Шерубай, да и в отличие от своих лошадей он видел предупредительные щиты, которыми была окантована опасная зона, и хорошо понимал их значение, но от лесорубов не отставал ни на шаг, так и висел у них на загривке. Правда, пришлось ему отсидеть пятнадцать суток за то, что голову проломил инженеру-лесопатологу. Нет, было ему невдомек, что деревья, пораженные грибом, гибнут на корню. Он своей стариковской душой уразумел лишь очевидное: зеленую чащобу леса сводят на нет, вырубая подчистую. И сердце его исходило слезами, и он готов был броситься под топор и пилу, защищая каждый росток, каждый прутик, тем более – каждое дерево. Он и сейчас ломил на Бекета и бульдозериста, как на врагов рода человеческого, которых надо прикончить здесь же, на месте, сей же час.

В последнюю минуту взрывники все же шуганули лошадей, гиканьем и криком пытаясь их отогнать от опасного места. Взрыв, с грохотом и хрустом расколов землю, потрянул всю округу. Неистовая сила взметнула вверх землю, щепу и камни, и на какой-то миг они зависли в небе, как сатанинская черная туча. Кони бросились врассыпную, а старик, теряя сознание, хлопнулся вниз бездыханный, будто его тем взрывом вышибло из седла. Бекет кинулся к старику. Тот плашмя лежал у ног лошади ни жив ни мертв, в ужасе обхватив руками голову и выкатив остекленевшие глаза. Решив, что старика контузило, Бекет заорал ему в ухо что-то вполне бессмысленное, но, очевидно, нужное, чтобы вернуть человека к жизни.

– Что орешь-то? – сказал старик, вставая. – Думал, я чокнулся? Или оглох?

– Слава богу! Я думал, вам речь отшибло. Вы хоть молиться умеете?

– Это еще зачем?

– Так мало ли что! Надо держать в памяти две-три суры Корана. Ради такого вот случая.

Старик обиделся:

– Я хоть и не все пять намазов читаю, но все же числюсь в списках мусульман.

– Тогда не страшно. Это мы, иноверцы, можем в тартарары провалиться. Как несчастный Мади за непослушание¹, – и Бекет, понизив голос, заговорщицки склонился к уху Шерубая. – Говорят, это и есть та самая гора, из-под которой он в предназначенный час должен выйти.

Старик опасливо покосился в сторону взрыва:

– И все-то вы знаете. Научили вас... на нашу голову.

А на вершине холма между тем собралось довольно много народу. Чего это они там толпятся? Парни были в пыли по самые брови, и по их лицам можно было понять: случилось что-то ужасное.

В центре толпы недвижно лежал Жакып. Рядом сидела Леся. Она молча плакала.

– В чем дело?

– А ты у него спроси, – хмуро откликнулся Бескемпир. – Может, он тебе чего скажет? Нам не сказал ничего.

– У него – мозготрясение, – поставил диагноз Мишель.

– Чего-о?..

– Мозготрясение, говорю. По темени камнем ударило... Мы его обмотаем в свежеснятую шкуру серого барана и сходу вылечим.

– Заткнись, а? Лекарь нашелся, – Бескемпир потеснил Мишеля от пострадавшего, ладонью вытер кровь, что сочилась с губ Жакыпа, и деловито бросил испуганной толпе: – Вертолет вызывайте.

Собственно говоря, последнее было адресовано Бекету. А пока суд да дело, Шерубай поджег ветку арчи, чтоб резким запахом привести в сознание Жакыпа. Тот и на это не отреагировал.

Старик чувствовал себя виноватым, сам себя успокаивал:

– Все будет хорошо. Он еще встанет. Мы не такое видели на фронте.

«Значит, “мозготрясение”», – подумал Бекет. Хотелось бы, чтобы старик оказался прав: все будет хорошо. Но пока что – ничего хорошего: бригадир был явно на грани между жизнью и смертью.

4

Силуэт густого леса у горизонта походил на зубцы черных скал, подпиравших белесое рябое небо, низко опустившееся к земле. Звезды были настолько близко, что, казалось, рукой можно зачерпнуть их целую пригоршню. А за небом и звездами высились невидимые в ночи седоголовые вершины гор. Они находились в такой царственной дали, что плоскогорья, сопки и вся прочая земля были как шелуха пустой, случайной речи рядом с высоким словом молитвы. Тайга в ночи хранила безмолвие и словно черный бархат поглощала каждый звук. Ночные огни, мерцающие по склонам Аюлы, походили на трепетные свечи, что украшают именнинный торт. Сян слышала про них, про именнинные свечи, но видеть – никогда не видела. И сейчас огни эти завораживали и манили. Обезжая в очередной раз

¹ Мади – сын Али-пророка, которого проглотила земля за то, что он боролся с отцом. В судный день он должен выйти из-под земли.

табун, Сян долго смотрела на огни далеких и близких костров, и сердце сжималось от неясных желаний.

Табун дремал. Только чужие жеребцы, сторожившие свой косяк, не давали отбиться от гурта неслухам-стригункам и двухлеткам, заставляя их держаться поближе к кобылам и заодно преграждая дорогу Сян. Но, обнюхав ее, узнавали хозяйку и утрачивали к ней интерес, шли себе дальше, настороженно принюхиваясь к яблокам конского навоза.

Сян походила в темноте на воробушка, хлопотливого и неумного, что, насвистывая, все кружит у табуна, а кроме нее и лошадей, казалось, ни одной живой души во всем урочище, во всей уснувшей ночи. Берданка натерла ей плечи. Она подоткнула ее под себя и повернула коня к отрогам Аюлы.

Сколько она себя помнит, на ней всегда была мальчишья одежда, а уж в седле она сидела чуть ли не со дня рождения. Единственная дочь табунщика, она должна была знать наизусть все причуды одинокой юрты, что словно прячется от глаз людских в горных глухих закоулках. Кроме отца родного, ершистого и вздорного старожилы тайги, девчушку некому и пожалеть. Ну, а отец – он не привык выказывать чувства, он считал, что домочадцев надо держать в ежовых рукавицах, и лишь следил за тем, чтоб рукавицы те были в исправности. А Сян и не роптала, она во всем полагалась на отцовский нрав и сама отличалась своенравием. В отце не было чувства стадности, ему бы только поступить наперекор. Он даже мочиться не станет как все – по ветру. Пусть себе во вред, но остальным назло, а – только против ветра. Понятное дело, единственное, что он имел – свою собственную подмоченную штанину. Но смотрел свысока, поругивая и понукая тех, кто по неосторожности оказывался рядом. Свои мокрые штаны он не видел, но под чужим ногтем грязь замечал. Пожалуй, лишь лошадь Шерубая покорно выносила его дурной нрав. Но лошадь пусть себе терпит, это ее личное дело, а почему должны терпеть окружающие?.. Он знай себе охранял пятьсот лесхозовских хвостов, причем охранял с таким ревностным рвением, будто это его родовое наследие. Что ж, вольному воля... Следующая его причуда – лес. Тут он превзошел сам себя, готовый затеять тяжбу с начальником любого ведомства и ранга, готовый перелаяться со всей родней, если той вздумается навести какой-то урон его лесу. Но тут-то все понятно, хотя это понятное труднее всего объяснить. Как объяснить, что такое родная земля, данная тебе один раз и навеки? Здесь похоронены все предки твои, все дорогие и близкие люди. Здесь, в этой святой земле, покоятся все твои двенадцать братьев. Сюда, в эту землю, и сам ты ляжешь в свой срок. И кто, если не ты, должен позаботиться, порадеть о здоровье этой земли, о том, чтобы она не захирела, не зачахла.

Сян рано осталась без матери. Некому было ее наставлять по части девичьей гордости, девичьей хитрости, некому было сказать, в чем назначение женщины, когда и как пробуждается в девочке тревожное и трепетное женское начало. О том, что она не парень, а девушка, Сян осознала лишь в этом году, в свои неполные шестнадцать лет. Она вдруг поняла, что рано или поздно придется ей уйти из отчего дома... После восьмилетия в школу она не пошла. Старик, искавший знания о мире и человеке не в книгах, а в жизни, возражать не стал. Она догадывалась: жить, что называется, «в чужих людях» не так-то просто, но пока знать не знала, где же крыши того аула, который станет для нее судьбой. А гордыня нашептывала ей: не соблазняйся, мол, синицей, которая будет виться под

рукой, а вылавливай своего журавля в небе. Тут сказывались в ней и отцовское упрямство, и собственный норв, и все пробелы воспитания. Хотя – какое там воспитание? Одни пробелы. Впрочем, сама она была собой вполне довольна, в своем характере, равно как и во внешности своей, не видела изъянов и вслед за стариком позволяла себе небольшие капризы, с которыми в доме мирились. Ей никто не перечил, а потому выказывать характер было не пред кем, и со стороны она смотрелась даже скромницей, какой и положено быть девушке, выросшей на глухой заимке, где не смеют дальше печи сунуть носа. Если она взяла в руки кнут, то вовсе не для того, чтобы стать вровень с мужчинами, а если ухватилась за курык-лассо, так без этого в доме табунщика и шагу не ступить. И вообще: кому какое дело, зачем и что она взяла в руки, когда и как ступила и куда пошла? Шаги в тайге не меряны, и никто тебе тут не указчик. Разве только отец...

Пожар в тайге – беда великая, пожар положено тушить. И под угрозой штрафа и суда в тайге нельзя – ни-ни! – и костерок раскладывать. А тут – какой там костерок! – деревья валят под гребенку и жгут их, жгут их все подряд. Причем кто жжет? Лесхоз! Да-да, лесхоз, который каждый год высаживает саженцы, дрожит над каждым деревом и при виде костра на всю округу кричит «караул!». И ладно бы жгли деревья где-нибудь рядом с аулом – мало ли на что это понадобилось! Но Сян впервые видела людей, которые крушили и жгли деревья на скалах. Зачем?..

Порывы пламени взвивались вверх как смерч, пламя гудело, пожирая деревья, издавдала обдавая жаром лицо, и от запаха горелой хвои першило в горле. На расстоянии светлячок огня был загадочным и манящим, вблизи он казался страшным драконом. И силуэты людей у костра бросали гигантские тени, они ломались, дергались и прыгали, словно бы исполняя танец из жуткого сна.

5

Люди у огня обычно не видят, что у них происходит за спиной. Бекет, а потом Бескемпир, оглянувшись, так и обмерли перед мордой коня, что неожиданно вышел из тьмы. Сян тоже не вдруг узнала их, а лишь когда наехала на костер почти вплотную. Бекет узнал ее мгновенно, однако и вида не подал, что узнал. А Бескемпир – ну, Бескемпир тут же прохватил стихотворный понос:

Заблудилась голубка в безлунную ночь?
Оставайся, голубушка, с нами.
Мы, голубка, тебя приглубить не прочь,
Мы сумеем голубушке нашей помочь...
Только чур, не рассказывай маме!

Но это бы еще куда ни шло, так он, едва она спешила, вцепившись в девушку как клещ, поцеловал ее в лицо – причем, кажется, в губы!.. Ладно, будем считать, что это бравада, работа на зрителя, на Бекета. Но охальник приник к ее шее и за девичьим ухом, куда допускают не каждого, поворожил губами. Девчушку, не привыкшую к таким вольностям, бросило в жар, дыхание пресеклось, и она опомнилась не вдруг, не сразу, чтобы дать отпор, а как опомнилась, то и отпор давать стало вроде бы поздно.

– Кончили обниматься? Тогда подсаживайтесь ближе. Посидим, побрешем – языки почешем, – говоря все это, Бекет подкормил кострище, бросив в жадную

плотку огня развесистую лесину, и, отойдя подальше от огня, прилег на подстилку сухого мха.

И хоть ее облапал Бескемпир с налету, но сердце девушки искало Бекета. А Бекет глянул холодно и равнодушно. Сян оробела. Поцелуй и объятие наглеца ошпарили ее будто кипятком, и она корила себя, что не дала ему отпора, и ругала опять же себя, что пришла сюда непонятно зачем. Но виду не подавала, что расстроена. Небрежно отвязала от тороки жанторсык, бросила его парням: дескать пейте. И, прихватив темно-рыжего за узду, подошла к огню. Причем с таким видом, будто делала парням великое одолжение. Темно-рыжий стоял как вкопанный: казалось, он не ступит в сторону ни на дюйм. Тоже с характером!.. Бекет швырнул в него горящую лучину, но конь только уши прижал, сердито головой тряхнул да развернулся задом, будто хотел лягнуть обидчика, но с места опять же не сошел.

– У вас и лошади с норовом. Где вы их только находите? – Бекет постарался ее ущипнуть. Хотя бы словом.

– Ну для вас годится и лесхозовский бык. Из седла не выбросит, по крайней мере. – Сян не привыкла оставаться в долгу. – Не зря казахи говорят: каков наездник, такова и лошадь.

– О! Мало ли что говорят казахи...

– Говорят-то они много что, да не до всякого доходит.

Бескемпир, как бы желая загасить пожар словесный кумысом, развязал горлышко жанторсыка и даже пить не стал первым, передал напиток Бекету. И хоть тому хотелось взять верх в словопрении, долаяться, но перед кумысом он был не в силах устоять. В носу пересохло от жара, бронхи гарью и дымом забиты. И как к последнему спасенью он приник к благоухающей горловине торсыка.

С той стороны, где была стоянка табунщика, раздался выстрел. Бескемпир вздохнул:

– Отец велит тебе возвращаться, – и, взяв берданку Сян, грохнул ответным выстрелом.

Сосны вздрогнули, с них посыпалась хвоя и труха. Темно-рыжий все это время стоял, понурился голову, выставив ухо, будто слушал, о чем это идет разговор, но тут и он открыл глаза.

– Ага, теперь нам кое-что ясно, – сказал Бекет. – Выстрелы раздаются два раза в сутки. Как раз в это время можно и выследить... кое-кого, и подкараулить, и...

– Ты не боишься ходить с холостыми патронами? – покачал головой Бескемпир, возвращая берданку хозяйке. – А ну как встретится медведь?

– Медведь подкарауливать не будет, – отрезала Сян.

Бекет принял это на собственный счет. И ему захотелось хоть как-то унижить ее, оскорбить.

– Ну к медведю ты с поцелуями не полезешь...

– Да и к тебе тоже. Ты ведь из этих... из неуязвимых. Хоть палкой охаживай, хоть кнутом настегивай – им все нипочем. Они всеядны. Вроде мула, он тянется мордой в ясли коня, а глазом косит в ишачью торбу. Дорогу выбирает полегче, местечко потемнее. И ведь ничем такого не проймешь: ни горем, ни радостью. Легковесные люди. Они в общем-то добрые, мухи не обидят. Но в трудную минуту на помощь не придут. Боль другого их не касается. И вечно им кажется, что они обойдены вниманием, лаской и любовью. Но вся беда в том, что если они на любовь не способны... Хватит? Или еще добавить?

– Ты где это все вычитала?

– В одной умной книге. Там сказано: чабанская профессия располагает к созерцательности.

– А профессия лесоруба?

– Это, как правило, неудачники. Бобыли из подворотни. Ни коня, ни двора, ни семьи, ни детей.

– Ну спасибо. Характеристика на загляденье. Тебя бы в отдел кадров...

– Да ради бога! Станете начальником – зовите. Всем дам аттестацию, всех припечатаю.

Сян легко вскочила с места.

Бекет буквально пожирал глазами ее хрупкую талию, ноги, обтянутые кожаными брюками, еще неокрепшие груди, что оттопыривали тем не менее камзол из жеребьячьей шкуры. Девушка и похорошела, и подросла.

Бескемпир между тем подвесил берданку к седлу, привязал к тороке аркан и жанторсык.

– До свиданья, что ли? – сказала она Бекету. – И незваному гостю желают удачи в пути.

– Но не такие же, как я, – Бекет даже не привстал. – Я ведь из этих... неуязвимых. Легковесных. Которым на всех наплевать.

– Да ну тебя!.. – пробормотала она, махнула рукой сокрушенно, и хоть дернула плечиком, но что-то, видно было, не по ней.

6

Ну что за собачий характер! Лишь бы гавкнуть на человека, если тот сказал тебе хоть слово поперек или глянул не так, как хотелось. Язык и сердце жили вразнойбой. Сердцем он тянулся к девушке, а языком готов был жалить ее как змей подколотный. Ну вот, а теперь, когда она ушла, его охватило сомнение: да полно – любовался ли он ею? Она ушла, и он, как ни силился, не мог вспомнить ее странно хрупкое и в то же время упругое тело. Наверно, после тридцати в нас гаснут потихоньку чувства. Он смотрел в мерцающее небо над Алтаем, и в какой-то миг представил себе голубую вершину Алатау и голубой призрачный луч на девчоночьей груди, обтянутой голубым трико. Асем... ее облик стирается в памяти, душа черствеет, покрытая коростой нескончаемых будничных дел. И эта девочка – она, увы, права во многом. Если убрать словесную шелуху и неуместную обиду, то неуязвимость – то, что дают нам возраст и годы. Надо, не трепыхаясь, просто ходить по земле, ощущая под ногами твердую почву. А для этого нужно что? Положение, власть. И побоку всякие там сантименты...

Пылающие языки огней по склонам стали укорачиваться, лес погружался во тьму. Набрякшее дымом небо тайги давило на плечи. Озон и запах смолы вместе с дымом составляли адскую смесь, дышать которой было мучительно трудно. Он по привычке, в противопожарных целях, прибрал вокруг костра чадившие остатки мусора, бросил в огонь и направился к речке. Смотровых, оставленных у костра специально, чтобы не допустить пожара, след простыл. Ну, эти работают из-под палки: погонщик исчез – и в тот же миг вся работа кончилась. Они поднаторели не в том, как лучше дело сделать, а в том, как от дела улизнуть. Шерубай прав: научи осла грамоте, он способ найдет от хомута отбрыкаться...

По-над берегом было росно, а воздух так влажен, что борода вмиг стала волглой, хоть отжимай. Едва он начал спускаться к реке, его обдало прохладой. Прохлада накатила так стремительно, что перехватило дыхание, он даже приостановился, чтобы перевести дух. И уж следом вздохнул полной грудью, чувствуя наслаждение лишь от этой одной возможности – дышать не гарью, а знобкой свежестью и речным холодком. Спустившись к реке, он умылся. С утра его мучила жажда, и чтоб ее вконец унять, он наклонился низко-низко над водой и вдруг увидел свое отражение, оно словно бы поднялось из темных речных глубин и округлившимися глазами смотрело на Бекета – смотрело пристально и жутко. Он шарахнулся от самого себя, как от привидения. Спину стянуло гусиной кожей. Он в один мах взлетел на холм, будто за ним гнались черти или водяные. Они догонят его, схватят и придушат. Уже взбежав на холм, он обернулся. Внизу шумела бездна реки, она была устрашающей. Во тьме что-то булькало, хрюкало, хлюпало, и это что-то вот-вот ухватит за ноги, утащит в промозглую тьму. Спину опять стянуло гусиной кожей, и он без оглядки бросился бежать. Наверное, впервые в жизни он был так напуган, что даже шорох травы под ногами и хлесткое касанье веток пробирало его ужасом от макушки до пяток.

Как угорелый он влетел в самый крайний шалаш, нашарохов до полусмерти Мишеля:

– Сдурел, что ли?! – Мишель спросонья барахтался в спальнике, пытаясь выбраться из него или хотя бы сбросить с себя подмявшего его Бекета. – За тобой что – волки гонятся?

– Медведь... бежал... за мной, – ляпнул в смущении Бекет.

– Ага, держи карман шире. Больно ты нужен медведю, – и, успокоившись, Мишель сладко зевнул. И съязвил, зараза, будто в душу плюнул: – Таких, как ты, медведь не трогает. Таких, как ты, он стороной обходит.

И этот дует в ту же дуду. Они что – сговорились?.. В ту ночь Бекет так и не добрался до своего спальника в соседнем шалаше, и, как отбившаяся от косяка лошадь, что ищет, к кому бы ей притулиться, не смог уйти от Мишеля. Он вдруг почувствовал, что один на белом свете и что смертельно устал от одиночества. И чтобы волком не взвыть, чтобы чуять рядом живую душу и как-то скоротать эту ночь, дотянуть до утра, он, не раздеваясь, прилег рядом с Мишелем.

– Что – укатали сивку крутые горки? – ожил снова Мишель, кутаясь в капюшон спальника. – Да, брат. Одинокий, что собака бездомная, собственной тени боится.

Кстати, о собаке. Бекет вспомнил про Керауыза. Пес вечерами обычно делал обход шалашей. И, приластившись к каждому из обитателей этих пяти убогих пристанищ, он уходил восвояси, как бы пересчитав их на ночь и успокоившись, что все на месте. Сегодня утром Бекет видел, как тот сидел на вершине холма и скулил, карауля прилет вертолета. Все дело в том, что Жакып и Леся улетели на вертолете, и Керауыз придумал себе забаву: гоняться по земле за ломкой тенью небесной стрекозы.

– Он что – рехнулся? – спросил Бекет.

– А, не обращай внимания. Мышей ловит, – отмахнулся Мишель.

Пес голодал. Потроха и кровь серого барана давно уже кончились, и надо бы выскрести собаке остатки варева со дна казана, но после Мишеля казан был пуст, будто его змея вылизала. Был хозяин у пса, и была у него жизнь вполне достойная, собачья. Не стало хозяина, и жизнь собаки даже собачьей не назовешь. Ах, Жакып, Жакып! Бедняга...

– Жакыпа увезли в городскую больницу, – как бы откликаясь мыслям Бекета, сказал, зевая, Мишель. – Состояние у него кризисное, Абдижапар говорит, мол, слух пропал, не слышат уши, и еще он говорит, что тебе надо зайти в сплавконттору, дать сводку заготовленного леса за неделю.

Ну, если говорит Абдижапар, то это не вранье. Пока что все несчастья, о которых сообщал Абдижапар, оказывались голимой правдой. Вот они нынче тычут Бекету в глаза, что ему наплевать, мол, на всех и на вся, что он такой сякой, намазанный сухой. Что его, дескать, обходить надо за версту не то что людям – медведям. Слепцы! Абдижапар – вот кого надо бояться, вот герой нашего времени. Этот не упустит своего, даже из несчастья выкрутит выгоду. Леспромхоз прихлопнули, закрыли, но и тут Абдижапар не на мели, и тут он изловчился урвать себе жирный кусок, да еще поглядывает на сторону, чтобы прихватить чужую долю. С тех пор как заготовка леса перешла в распоряжение лесхоза, Абдижапару поручили сплавоконттору. Вотчина небогатая, но он в ней – царь и Бог. И заплечных дел мастер. А как же! За три месяца три комиссии приезжали, перевернув лесхоз вверх дном. По жалобе, между прочим. Кто ее написал? Сообразить нетрудно. Сигат делал вид, что не знает, Абдижапар делал вид, что он ни при чем. А ведь – ох как при чем! И не смей его тронуть. С работы попереть? Гонения на честного труженика. Выговор вклеить? Зажим критики. Жалобщик – он всемогущ, хотя сам он в тени, сам он застенчив и тих. Ну, разве что капнет один-два раза в месяц, куда надо. И спит себе спокойно. Бессонница пусть мучает того, на кого ты сигнализировал. Правду ты сообщил или вымысел – это пусть разбираются инстанции. Но кой-кому нервишки помотают и страху нагонят. До работы ли тут! Вот здесь-то и вся соль: под шумок, под всеобщую тряску можно втихаря кой-что обтяпать. И оттяпать. Ну, бывает, и тебе невзначай на хвост наступят – издержки, так сказать, производства. Ну пострадаешь – так со всеми заодно. А главное – ты не в накладе... О-о, жалоба – великое дело! Вот в одной газете какой-то писатель-буагомаратель давал подробную инструкцию, как стряпать жалобы. Все восхищались. Ах, остроумно! Ах, академик жалобщиков!.. Да какой же он академик? Дилетант, самоучка. Абдижапару он в подметки не годится...

У Бекета все клокотало в душе от ненависти к Абдижапару и от... Послушай, пытался он себя одёрнуть, уж не завидуешь ли ты ему? Дочь табунщика верно сказала: тянешься мордой в кормушку скакуна, а глазом косишь в ишачью торбу. Со скакунами дело посложнее. Скакун споткнется – все заметят. А ишаку – ему все простят, даже если он лягнет султана. Что взять с него – ишака!.. Правда что, пересчитают палкой ребра, но тут уж спрячь свою гордыню и терпи. Зато твою торбу у тебя не отнимут, а кормушек отборных на всех скакунов не напасешься. Вот ты – аж главный лесничий лесхоза. А толку что? Не смог сбить спесь с простой девчонки-табунщицы, пропахшей кумысом. Эх ты!

Спальный мешок у стены развернулся, как бревно. Мешок походил на тюленя. Впрочем, не только на тюленя. Из-под капюшона светились глаза, и казалось, что это змея выглядывает из норы. Змея кусачая, но не ядовитая.

– Приснилось что-нибудь?

– А что?

– Да все бормочешь и бормочешь.

– Мало ли что на язык попадет...

– Вот-вот. Я тоже так. Лежу среди ночи и сам с собой веду беседу. Днем руки коротки начистить кое-кому рыло. Так я с ним среди ночи свожу счета, наедине с самим собой.

– Да-а, мы с тобой коротки на расправу.

– Не только мы. Кто чуть посильней да покрепче, его все хотят свалить. Ловят момент. Все против сильного.

– И обрати внимание: стоит кому-нибудь сильного пнуть, все вокруг рады Плебеи...

Комар запел свою нудную песню. Они поленились у входа в шалаш опустить накомарник. Из-за спины хмурой лиственницы, словно лезвие ятагана, блеснул зубчик месяца. И заблестела под лунным сиянием вершина Сулушоки. Там, по молочно-белому склону, проносились вихри. Увидев искры далекой пурги, Бекет поежился невольно. Мишель лежал, все так же выпучив глаза, и обдумывал какие-то важные мысли.

– Слушай, – сказал он. – У меня есть деньги. Много денег. Всю жизнь собирал.

– И сколько же их у тебя?

– Пятьдесят тысяч. Пятьсот пять рублей. Пятьдесят пять копеек.

– Какая точность! И куда тебе их столько?

– Вот я и думал: куда? Сначала хотел накопить до тысячи, потом решил дотянуть до десяти тысяч. Потом – до пятидесяти. А теперь вот – до ста. Зачем? Сам не знаю. Была бы жена, я ей на все пальцы рук и ног понадевал бы золотые кольца. Нет жены.

– Ну а я тебе чем помогу?

– А ты... Ты мои деньги сдашь в сберкассау.

– Что – сам не донесешь?

– Нет, донести-то я донесу, но мне ведь никто не поверит. У меня нет даже этой... ну... турдабай¹ книжки.

– Так ведь никто и проверять не станет, откуда у тебя эти деньги.

– Ну да!

– Закон такой. Тайна вкладов.

– Я и не знал...

– Так знай.

Подумать только! Вкалывал всю жизнь, зашибая деньгу, а теперь сам себе и не верит, что эти деньги его. Деньги, деньги... На кой ляд они людям, когда от них ни радости, ни хоть какого-нибудь смысла? Вместо того чтобы семьей обзавестись, обзаводятся сдуру сберкнижкой. Ведь этот Мишель несчастный еще семь лет назад, когда Бекет впервые приехал на Алтай, был таежным жуком-скарабеем, готовым делать из дерьма конфеты. То есть такого барахольщика и скопидома надо поискать. У них тут как заведено? Хотя бы раз в году выбраться к людям, погудеть-погулять, все деньжата спустить. Так вот, все уезжали, а он – ни шагу из тайги. Зато денежки целы. Он так, пожалуй, до своей кончины не вылезет отсюда.

– Слушай, Мишель! Случись с тобой что – искать тебя будут? У тебя родня какая-нибудь есть?

– Искать – не будут. А родня есть. Две сестры и брат.

– Скучаешь по ним?

¹ Искаженное: трудовой.

– Да как сказать? Они по мне не скучают – это уж точно... Ты что – решил меня пожалеть? Сам себя пожалей. Хотя... Ты мне можешь помочь.

– Чем это?

– Помоги встать на ноги.

– Как это?

– А просто. Помоги устроиться объездчиком. Пусть в глухомани, в чертях на куличках, но... я буду счастлив. Мне мои деньги ни к чему. Была бы крыша над головой да кой-какой скот под боком. Возился бы я потихоньку в навозе, считал бы прожитые годы и, не страшась, ожидал своей старости. Ведь мне уже за сорок. Чем я хуже других?

– Зачем же в глухомань? Надо к людям поближе. Бабу найти будет легче. Без бабы в доме какая жизнь?

– Тебя послушать, так среди людей – не жизнь, а рай. А мне в раю и одному будет неплохо. Руки-ноги есть, голова на месте. Прокормить сам себя я сумею. Чего еще надо? Мне труд не в тягость, а в радость. Я вкалывать хочу не для наград – для души.

Смотри-ка, о душе заговорил. Даже Мишелю стал тесен шалаш, который семь лет был для него единственным домом. Наверное, Мишель впервые говорил так с человеком, что семь лет плечом к плечу с ним не просто топором помахивал, а деньгу добывал-заколачивал. «Боль другого тебя не касается, – сказала Бекету чабанская дочка. – И ты на помощь в трудную минуту не придешь». Наверное, она права. Он был, конечно, альтруистом, но, так сказать, теоретически, абстрактно, вообще. А заглянуть в глаза и в душу человеку, который рядом, не удосужился ни разу. В глазах Мишеля – боль и надежда. Свет луны просочился в шалаш, он был печален и кроток, и в этом голубом и грустном полумраке глаза Мишеля, полные надежды и тоски, как две смородинки, что упали на лед и замерзают на льду.

Шум реки стал слышнее. Вместе с ним пришла знобкая речная сырость. Ночной холодный ветер перебирал шелестящее сено, которым был покрыт шалаш. Склон Сулушоки, только что ослепительно-белый, стал меркнуть, уходить во мглу. Силуэт тайги терял четкость, растворялся в предрассветной тьме. Каждый раз, когда, вздыхая, колыхались острые вершины лиственниц, начинало казаться, что они выметают с горизонта могущие там быть соринки, очищая дорогу, по которой будет всходить солнце.

Заскулила собака, и тайга наполнилась неуютом. Это всхлипывал Керауыз. Бекет подумал о сиротской доле пса. А рядом были бередящие душу неприкаянные глаза Мишеля. И снова поднялось из темной речной глубины отражение глаз самого Бекета, пугающе жуткое, леденящее душу. И в глазах – укор, смятение. И вопрос – из тех, последних, роковых, на которые жизнь не даст ответа.

Он, вконец сокрушенный, отвернулся к стене.

7

Сам собой между ними возник молчаливый уговор. Он, ничего не сказав, пришел на выпас за полночь. Она, ничего ему заранее не обещав, была здесь тоже. Она не сказала, что уйдет. А он... ну, он не захотел уйти.

Получив молчаливое согласие, Бескемпир без лишних слов снял с мухортой коняги седло, стреножил лошадку, пустил пастись. Сян тоже молча разложила два седла под сосной. Затем они оба, устроившись поодаль друг от друга, сидели и

долго молчали. То ли ветер, то ли еще какой озорник стал бросать в них с деревьев шишки. Бескемпир для порядку раз другой пнул по стволу сосны. И тотчас две белки, вилля хвостами, перелетели с их сосны на соседнюю крону.

– Зря спугнул, – сказала девушка.

– Пусть ведут себя тихо.

– Я тоже, когда была маленькой, бросала камешками в парочки, что прятались в кустах.

– Вот тебе и вернули должок.

– Ага, вернули, – согласилась она. – Я, бывало, гостям воду в постель наливала. А то возьму, стащу у них ночью штаны и рубаху, набью их мусором. Вот смеху-то! Или кнут спрячу так, что никто не найдет.

– Ай-ай-яй, ай-я-яй!..

– Они, как увидят меня, аж бледнеют. Им бы только уехать быстрее. Что еще? Девчонкам косы отрезала. А то собак на них натравлю.

– На девчонок?

– Угу. Я их терпеть не могла.

– Почему?

– Пес его знает. Наверно, потому что сама из бабьего племени. Когда в тринадцать лет впервые мачеха напялила на меня юбку и кофту, я чуть с ума не сошла. И в куклы никогда не играла. И вышивать не вышивала. А теперь вот стала дура дурой, ночами не сплю, морочу голову парню. Зачем? Ты скажи мне: могу я стать хорошей женой?

– Ну и вопросыки...

Бескемпир растерялся. Он вообще-то за словом в карман не лезет, и охальник он отменный, и нахалюга первостатейный. И хотя вместе с Сян он второй раз встречает рассвет, но ее обезоруживающая прямота и откровенность ставят в тупик и парализуют его мужскую волю. Даже весной, когда дождливой ночью пропал Бекет, Бескемпир находил в себе силы читать свои экспромты и декламировать четверостишия Абая. В минуты трудные, когда ему становилось не по себе, он находил спасение в стихах и каламбурах, в ерничестве и шутовстве. Он мог пригвоздить человека насмешкой и вознести его же до небес похвальбой. Но в этот раз произошла осечка, колпак шута ему никак не подходил, привычные хохмочки и остроты вдруг превратились в колоду ветхих потрепанных карт. Он понимал, что эту умную девчонку пустой болтовней не увлечь, а всякие охи да ахи про любовь здесь не пройдут. Он понимал, что в изгибах своевольного характера кроется многое, что недоступно случайному глазу. Она разыгрывает из себя простушку, но за ее нарочитой наивностью кроется резкая, не по годам, пронизательность. Она бравирует мальчишеской удалью и ухарством, скрывая милое кокетство, перед которым невозможно устоять, как бы ты ни был холоден и толстокож. Нет, ее ни нахрапом не возьмешь, ни коварством, ни хитростью. И чтобы попросту не тратить порох, не изощряться, он приволок свое седло к ногам Сян и лег, положив голову на девичьи колени. И как приبلудный пес, что ластится трусливо, ожидая, что его обогреют палкой, он разве что не бил хвостом землю и не поскуливал робко. Но девушка, на беду ли, на счастье, не прогнала его, не отстранилась. Приникнув к дереву спиной, закинув руки за голову, на затылок, она сидела так, будто все это ей не в новинку. Ее душегрейка осталась без сторожа, и Бескемпир, расстегнув на ней нижнюю пуговицу, приник лицом к

ее плоскому и умопомрачительно нежному животу, весь разомлев и растаяв. Он попытался обнять ее талию, чтоб уж совсем подняться на седьмое небо.

– Счастливых сновидений! – остудила она его пыл.

Её голос был ироничным, насмешливым.

– Спасибо, – пролепетал он, не желая уступать позиции. И совсем как пацанчик сделал открытие: – А я истосковался.

– По ком, не секрет?

– Мать кормила меня грудью до семи лет.

Его тут же привели в чувство:

– Может, скажешь еще, что до четырнадцати лет в постель мочился?

– Ага, скажу.

– Тогда уж признайся, что до десятого класса без трусов ходил.

– А ты откуда знаешь?

Он решил соглашаться со всем, что бы она ни сказала. При этом, отвечая, он не врал. Правдой было и то, что всю жизнь он мечтал лежать полузадушенный в теплых, нежных объятиях. И ни за что не вытравить из памяти озноб и холод, когда он шлепал по мерзлой земле босиком, без трусов: ногами до сих пор он просыпается в холодном поту от давнего озноба.

– У-у, какое горячее дыхание! – сказала девушка.

Но опять же не отстранилась и рук от затылка не отняла, хотя, если правду сказать, эти нежности парня, его дыханье жаркое и робкие объятия никак не всколыхнули ее душу и не лишили самообладания. Он это понял, и это его отрезвило.

Он ослабил хватку, высвободил лицо из-под ее душегрейки:

– Ты вещунья. А что ты скажешь обо мне?

– Я по глазам читаю.

– Так вот мои глаза, – он лег на спину, ловя ее взгляд. При лунном свете золотился ее подбородок и еще белее казалась шея. Будто лебедь на темной глади вод.

– В народе говорят: ногами вредно разгадывать сны. И судьбу толковать не стоит. Я вижу: ты много страдал, но, по-моему, ты счастливый.

– Правда?

А почему бы и нет. Ты же сам ей сказал: до семи лет тебя не отнимали от груди. А ребенок, который досыта вскормлен материнским молоком, не может стать несчастным человеком. Есть такая примета.

– Ты знаешь, Сян: ей больше нечем было кормить меня. Вот и кормила грудью.

– А у меня мама умерла, когда я лежала еще в колыбели. Мачеха была служанкой в доме...

– То-то я подумал: слишком молодая мать у Сян.

– Ну и что?

– Да так, ничего. Я вот на восемнадцать лет старше тебя.

– Я что, тебя про возраст спрашивала?

Бескемпир промолчал. Вот он и развязал узелок, что не давал ему покоя. Многие странности девушки он объяснял тем, что ее забаловали, дали волю сверх меры. Чего уж там! Нравилась она ему. Но разница в возрасте... Ему за тридцать, ей шестнадцать. Как тут не оробеть? Да, положил он руку на гриву стригунка, необъезженного, неприученного, не знавшего узды. Чем приручают? Уздой да курыком. Хлопотное это дело – объезжать лошадей... Ему приятна была ее искренность, ее открытость, умение без натуги и позы вести себя на равных с

человеком, который был много старше. Делиться сокровенным так вот запросто, как с близким другом, – не могло это не подкупать. И что же? Сказать ей после этого: «Давай поженимся?» Нет, так не годится. Надо как-то иначе.

– Ты знаешь, о чем я думаю сейчас?

– А надо ли об этом говорить? Пусть останутся у девушки тайны, а у парня то, о чем ему лучше молчать.

Дальше Бескемпир не стал приставать. Надо ли быть таким надоедливым?. Он вдруг почувствовал нелепость ситуации: развалился на коленях у девчонки, распустил нюни, рассиропился. Мальчишка ты, что ли? Ведешь себя как пацан... А по лицу Сян ничего не поймешь. Если раньше она сидела, задрав голову к луне и звездам, то теперь пригорюнилась, уставясь в одну точку. Машинально она гладила его по голове, лохматила волосы, и хотела она этого или нет, но от ее ладоней исходили токи нежности, он снова стал терять самообладание, и губы его потянулись к девичьим губам. Но она уклонилась от поцелуя.

Со стороны стоянки Шерубая грохнул выстрел.

– Отец меня ищет.

– Будет ругать?

– Нет. А зачем?

– Он тебя любит?

– Он мне доверяет.

Луна светила с полной откровенностью. Редели звезды, бледнело небо. Лишь на восточном склоне, зацепившись за ветку сосны, еще шибче светила Венера. На проступающем из предрассветных сумерках пастбище дремали лошади. Темнели силуэты пузатых кобыл, они отдыхали лежа, подогнув под себя все четыре копыта. А рядом стояли стригунки и двухлетки, положив голову на холку друг друга. Всклоченный жеребец с гривой до самой земли подогнал к сосне стреноженную мухортую лошадку, как бы давая понять, мол, «пора расходиться».

– Странно, почему лошади спят стоя? – спросил Бескемпир.

– Ага. Причем всего один час, – откликнулась Сян. – Полчаса на закате и полчаса на рассвете.

– А жеребцы... когда спят они?

– Днем. На жели¹ отдыхают. У них все предусмотрено. И воры, и хищники нападают на лошадей по ночам, во время их сна... Вот жеребец и начеку... Да что там жеребец! Даже петух, защищая квочку, дает отпор ястребу.

Бескемпир вскинул берданку, оглушил округу выстрелом. И уж потом, прихватив седло, встал.

8

Мухортый пятилетка плелся за ними след в след.

– Да он у тебя будто гончая, – восхитился Бескемпир.

– А что? Собака тоже одно из семи чудес света. Но знаешь... – Сян приостановилась даже. – Казахи никогда не обзывают скотину собакой. Особенно лошадь.

– Что-то слышал такое. Дескать, достаток из дому сбежит, как собака, которую шугнули в сердцах.

– Достаток из дому не собака уносит, сам человек... А лошади все понимают, по голосу чувят, обижаешь ты их или хвалишь.

¹ Веревка, натянутая у самой земли, для привязи лошадей.

Она не сказала ему «садись», а он не сказал ей «давай сядем вместе». В конце концов, на одной лошади они оба едва ли смогли б уместиться. Сесть за его спину без седла она постеснялась, а он не посмел ехать верхом, развалившись в седле. От предрассветной росы кирзовые сапоги Бескемпира намокли, обтянули ноги как кишка, тонкие брюки облепили тело, как рубашка новорожденный плод. А он-то думал, что кожаные брюки и душегрейка из жеребьячьей кожи у нее для форсу. Она увидела, он мокрый будто куренок и, конечно, продрог. Сян вышла вперед прокладывать дорогу в высокой траве и хоть так облегчить участь Бескемпира. Она шла, не оглядываясь, пока не показались белые юрты на южном склоне. В утреннем свете они гляделись не просто белыми, они были ослепительной белизны. Она и тут не оглянулась, и лишь когда три волкодава с лаем взяли его в кольцо, она прогнала их и взяла за поводья мухортого.

Они постояли немного, вглядываясь друг в друга, как будто эта ночь могла их изменить и надо разглядеть новое, что появилось в каждом. У юрты кашлянул старик. Звякнуло ведро, замычал теленок. Старик в чапане налегке стал спускаться к низине. Конечно, с кумганом. Токал, вся ладная и кругленькая, как мяч упругий каталась вокруг юрт. Отвязала теленка со звездочкой во лбу. Походя подняла красную корову, пнув ее по животу. Из большой юрты, почесывая голое пузо, вышел последний из лопоухих. Потом – второй, за ним – третий, четвертый. Они, как новобранцы, выстроились в ряд и, будто по команде, пустили тугую струю.

Она рассмеялась:

– Скоро пятый братишка появится.

– А если сестренка?

– Еще чего, братишка, – сказала она как отрезала.

– Тебе не кажется, что надо бы кому-то и твое место занять?

– Я никому не уступлю свое место.

Юрты было две. Справа от главной, большой, стояла вторая, поменьше. Все входы в нее и выходы были наглухо закрыты. Причем все до тесемочек там было белым, целомудренным, нетронутым.

– Отец помощника нанял?

– Зачем? У нас в доме есть кому стать хозяином юрты.

– Это кто же?

– Я.

Час от часу не легче!

– Ты кто? Ты – девушка на выданье.

– Ну и что?

– А девушке на выданье справа юрту не ставят.

– Да? Еще что скажешь? – и она посмотрела вверх юрт. – Наверно, и примаку тоже надо жить где-то.

Сян вскочила на мухортого и, бросив на парня взгляд как на лошадином базаре, пришпорила коня.

– Когда увидимся?

– Зачем? Я вот она – вся тут. И ты... весь тоже... как на ладони.

И уже на ходу она бросила:

– Вот откочуем в глубину джайляу, тогда можно и встретиться.

Что тут скажешь? А нечего сказать. Слов нету. Вышли все. А те, что есть, так они же встали поперек горла.

Из-за гор опять выплыло все то же, всем надоевшее солнце. Обычно до полудня утренняя роса и туманы, что прячутся по оврагам, держали прохладу, давали возможность дышать, но сегодня они даже за ночь не заглушили духоту. Дым утренних костров сожрал ночную сырость, и воздух был уже не воздух, а липкий пар, пропахший гарью и смолой. Дышать им было невозможно. У горизонта лежала голубая дымка. Она давила на плечи, вызывая удушье.

Хотелось есть. Начало жечь под лопатками. Горели ладони, полыхали жаром подошвы ног. Теперь поднимется температура. Болезнь легких – это, брат, не шутка. У туберкулеза шакальи повадки. Он то затаится, его вроде бы нет. А то вдруг заскулит так, что небо с овчинку. Правда, что Бескемпир с ним уже лет десять как тягается, но – с переменным успехом, никак не может одолеть. И с ног он вроде бы не свалил Бескемпира, но ломает, зараза, и гнет, и душит будто сатана. Причем почти что каждый месяц. В такие дни грош цена всему миру, и жизнь становится тягучей как смола, когда отравишься и не находишь себе места.

Липкий пот. На спине, на плечах, на лице... Духота сжала липкие пальцы на горле, заглушила все голоса и звуки – не слышно даже каждодневного визга пилы и стука топора. И лишь когда он подошел вплотную к пустым шалашам, он вспомнил, что завтра – выходной.

Очаг залит водой, а на треноге, как вспучившаяся от воды головешка, торчала фуфайка Мишеля, вся в заплатах, живого места нет, а на нее нахлобучена облезлая сурочья шапка, место которой давно на помойке. Хлебово в собачьей миске не тронута. Видать, Керауыз давно не подходил к шалашам. Бескемпир глянул на всю эту убогость и увидел себя сидящим в белой юрте, а у входа в нее – смиренная жена, готовая исполнить все его желания.

Полжизни он провел, обивая чужие пороги, не ведая, где приклонить беспутную головушку. Что ж, так и мыкаться дальше, тосковать по теплу очага, по немудреным радостям семейной жизни? А кому ты нужен, бродяжка, бич таежный? Тебе одна дорога – вот в этот черный и сырой шалаш.

Когда накатывала тоска, он, прячась от парней, курил, хотя сам курева не держал. Он залез в шалаш бригадира и, порывшись в его барахлишке, нашел пачку «Примы». Хотел было сунуть ее в карман, но, устыдившись крохоборства, взял две сигареты. Одну закурил, другую спрятал про запас, а пачку положил на место.

У «дикой тайги» в два месяца раз выпадает отгул. Он длится десять дней. За это время можно срубить дом – пусть небольшой, но все же. Сколько он там будет стоять? Неважно. А важно то, что дом этот можно пропить – за те же десять дней. Ну, семейные, по крайней мере, сходят в баньку, бельишко заменят. А холостяки-бродяжки – для них одна дорога: в кабак. Здесь им и банька, и дом родной, и для души отдохновенье. Эти треклятые десять дней отгула выматывают Бескемпира страшной самой нудной работы. Нет, он отгулам не рад, ему отгулы в тягость.

От курева на голодный желудок потемнело в глазах, голова закружилась. Он как сидел у чучела Мишеля, так, прислонившись к нему, и задремал, забываясь.

Его разбудил звон поводов и перестук копыт. Он открыл глаза и увидел перед собой старикашку, мятого-перемятого, с кобылой, тоже старой и утомленной течением жизни.

У старика были вопросы:

– Эй, дорогой! Где тут аул табунщика?

Бескемпир молча разглядывал старика, как бы намереваясь увековечить его в своих рифмованных чеканных строках. Старик поежился, настороженно натянул поводья. Его пугал столь пристальный взгляд.

– Эй, дорогой! У тебя что – сдвиг по фазе? Я спрашиваю: где аул Шерубая?

– Что – дочку его хотите просватать?

– Я?.. У меня пока ещё все дома. Дочку просватать!.. Мне дочка его нужна, как зайцу насморк. Мне жеребец его нужен.

– Тебе-то зачем жеребец?

– Не мне, а моей кобыле. Эй, слушай, я все надеюсь на Абдижапара, но у него не жеребец – осел, причем настолько хилый, что как ни корячится, а кобылку мою покрыть не может. Какой год она уж яловая. А мне нужен кумыс.

И старик залихватски хлопнул кобылу по ребрам. У той глухо ухнуло в утробе. Кобыла пребывала в глубокой старости, она давно забыла, что такое жеребец, жеребость и прочие сложности бытия. Впрочем, она махнула хвостом, показывая, что вполне еще живая.

– Сколько зубов у вашей кобылы?

– Чего это?.. Сколько раз, говоришь, у ней падали зубы? Я как-то не считал.

С тех пор, как она у меня, двадцать раз падал снег.

– Да она молодка!.. Вам бы надо полный разворот кругом. Как шли сюда, так идите обратно. Не заблудитесь.

– Не может быть! Неужто Шерубай такой придурок, что до сих пор торчит внизу? Его комары и мухи сожрут. Ну, так и быть: у тебя есть насыбай?

– Насыбай-то есть, да еще не начатый.

– Да? Тогда бапросы давай. Мне лишь бы запах был.

Иссохший старик подцепил тощими пальцами сигарету и потопал обратно по своим же следам. Что ж, если высохший старик собрался получить приплод от высушенной шкуры, которая не то что жеребца – сама себя не узнает, то у меня на четвертом десятке еще не упущены шансы, подумал Бескемпир, находя, как ни странно, в этой мысли успокоение...

Двадцать пять километров да по тайге – свет не ближний, и в одиночку – прогулка не из приятных. И угораздило Мишеля оставить меня одного... Бескемпир мысленно обложил Мишеля трехэтажным матом – тому, поди, икнулось, и весьма основательно. А ну со мной что случится? Кто спохватится, кто на помощь придет? Вообще-то он не впервые идет один по таежной глухомани, но отчего-то впервые он ощутил такое горькое сиротство, какое посещает нас разве что в детстве. Рюкзак был тяжелый, натер плечо, хотелось бросить его наземь и пнуть как собаку, настолько он осточертел. Была надежда, что после спуска к Бухтарме ему повезет и удастся скоротать дорогу хотя бы на паре быков, но даже такой оказии, как назло, не случилось. Еще спасение, что у реки прохладный ветерок, и можно наконец проветрить легкие, уставшие от гари и копоти. Он отдышался, настроился на философский лад: Аксу, мол, все равно от него не уйдет, и не пора ли подкрепиться. Трапеза была царской: пара горстей хлебных крошек и речная вода – хоть упейся. Но хлебные крошки были вкусны как щербет, а пить воду под шум реки, жужжанье пчел и пенье – это кайф, какой не часто словишь.

Бескемпир не столько шел, сколько отдыхал. Десять столбов вдоль дороги отшагает и – бряк на травку, чтоб поостыли ноги. Столбы были кстати, их заунывное гудение вполне соответствовало его душевной тоске, располагало к размышле-

ниям о жизни. Он приложил ухо к столбу, и грустное пенье проводов вернуло его в пору детства, в тяжелые годы войны. Писем с фронта не было, и пацаны, приникая к столбам, вслушивались в многоголосый гул, пытаясь уловить в нем хоть какие-то вести, которых все заждались. Столбы гудели и в летний зной, и в зимние морозы, они связывали большой и грозный мир с маленькой жизнью их аула, они вселяли надежду. До сих пор в нем живет благоговейное ощущение той, детской, тайны: подумать только, по тонким проводам в мгновение ока стекаются вести в их аул со всех концов света – как, почему это происходит? Этой тайне сродни было и другое чудо: как в кузовок кобыза и двухструнной домбры казахи сумели собрать всю свою радость и печаль?.. Лопоухий телефон, прилипший к стене аулсовета и вечно дребезжащий, тоже ожил в памяти Бескемпира. А рядом с телефоном – председатель сельсовета, хромым и с костылем, которым он готов огреть всех и каждого. Ну, а если огреть не сможет, то, крутанув ручку телефона, начинает орать в трубку, что одного отдаст под суд, другого упечет в ссылку, а третьего вовсе пустит в расход. Такой вот был грозный начальник... Говорили, что вот война кончится и не станет злых начальников и воцарится благодать: все будут сыты, обуты-одеты и в тепле. А Бескемпир пас лошадей, был кучером, даже сделал карьеру – выбился в складские сторожа, но при этом голодал-холодал, носил какие-то несменяемые вечные лохмотья, спал под столом в конторе и вместо колыбельной по ночам над ним гудел зловеще лопоухий телефон. А было тогда Бескемпиру не то тринадцать, не то четырнадцать. И ты смотри-ка, он уж двадцать лет с гаком не заглядывал в родной аул.

Сто столбов. Значит, десять километров позади, а впереди – еще пятнадцать. Ну до чего же все знакомо! И эта изнуряющая усталость, и эта исхоженная сотни раз дорога, и переправа, и прибрежные валуны. Он не считал ни пройденных шагов, ни прожитых часов, полагаясь во всем на судьбу. Хотя бывали, – ой, бывали! – моменты, когда считать приходилось секунды и торопить их, чтобы они быстрее прошли. Все на этой дороге. Бог ты мой, да на этой таежной дорожке прошла чуть ли не вся его жизнь. И ведь по ней, постылой, он проводил отца в последний безвозвратный путь...

...Перед глазами трехлетнего ребенка, как в диафильме, проходили чередующиеся кадры. Застывшие кадры, они не стираются в памяти, не выцветают... Он помнит, что стоял мороз. Помнит, что был привязан к спине матери. И, привязанный к материнской спине, видел блески звезд, вонзившиеся в стылое небо. По желобку зимней дороги волоклись одинокие сани, а за санями шагало с десяток человек.

Он помнит, как мать плакала, передавая узелок кому-то в руки, как она цеплялась за эти руки, будто за последнее свое спасение, а ее отталкивали:

– Уйди! Да уйди же, тебе говорят..

Кто-то грубо толкнул ее в грудь. Он закричал, потому что мать упала в сугроб и ему в лицо попал обжигающий снег. Потом...

Потом опять гудящие телеграфные столбы. И опять все то же стынувшее небо, в которое вмерзла ледяная лепешка луны. Правда, теперь уже мать везла его на санках, закутав в холодный тулуп. Вошли в какой-то двор. Мать отвязала его от санок, поставила на ноги. А ноги были словно неживые, и он, запутавшись в полах тулупа, упал. Поднялся. Снова упал.

– Да что же... ноги-то тебя не держат?! – запричитала мать. – Да зачем ты на свет уродился!.. Да лучше бы тебе в утробе умереть...

Долго стучались в чьи-то двери. За дверью – ни звука. Пошли стучать в окно. Но это привело лишь к тому, что все собаки аула подняли лай. А к темному холодному окну никто не подошел.

Январский мороз пробирал до костей, и когда заоченели вконец и впали в отчаяние, скрипнула дверь, и женский голос испуганно спросил: «Кто там?».

– Да я это, я! – голос матери тоже звучал испуганно.

– Бакья?

– Ну а кто ж еще!

Мать подтолкнула к двери закаменевшего от холода Бескемпира, но дверь захлопнулась, едва не прищемив ему нос. Лишь на мгновение пахнуло ему в лицо живым теплом, и снова – черная стужа ночи.

А из-за двери полусшепотом, скороговоркой:

– Уходи, уходи!.. Мы вас не знаем, и вы нас тоже.

Дрожа от холода, он зашелся в плаче.

– Перестань!

Голос матери огрел его сильнее оплеухи. До слез ли тут. Она поволокла его к саням, бормоча: «К нагаши пойдём. Больше некуда...». Когда он подрос, то узнал, что между Карагайлы, где их на порог не пустили, и Аксу, где жил нагаши, шестьдесят километров. А нагаши был Сигат, но и там их не пустили на порог, хотя по несколько другой причине. Мать Бескемпира, а тем более сам Бескемпир, мало что понимали в происходящем, но всей кожей своей они ощутили тогда, что это такое – «враг народа», «прихвостень», «байский выродок» ну и так далее, те слова были тогда очень даже в ходу, они как бы вычеркивали людей из жизни, не давая им пристанища ни на земле, ни на небе.

У Сигата ей, «байской дочери», сунули из-за двери пол-лепешки, но тоже не впустили в дом.

– Спасибо, – сказала она. – Где Сигат?

– Не знаю, – шепотом ответила дверь. – Скрывается где-то. Извини, за мной тоже вот-вот придут.

– Где нагаши? – спросил Бескемпир мать.

– Нет дома. Ушел.

– Куда?

– Искать твоего отца.

Если это был и обман, то он был близок к истине. Поскольку двери данного дома не окрылись, мать, никогда не ходившая по родственникам в поисках помощи, все той же ночью ушла восвояси. Куда? А туда же, откуда пришла.

И опять – все то же ночное морозное небо с желтой льдинкой луны. Опять он сидел, привязанный к саням. Ночь посинела от мороза, и казалось, что земля покрыта не снегом, а купоросом, и по этой купоросно-зябкой синеве шла мать, а от ее окоченевших рук тянулась к саням нить бечевки – единственное, что связывало Бескемпира с жизнью. Узкая щелочка, оставленная в ворота тулупа, позволяла ему видеть лишь эту нить и силуэт бредшей матери, а дальше – мутный горизонт, и ни одной живой души до самого края земли. Ресницы обметало инеем, он застил глаза и походил на кромку леса, в котором порой исчезала маячившая во мгле фигурка матери, и сердце Бескемпира замирало от страха, а смахнуть иней с глаз он не мог, руки были спеленуты шубой, ее полы подоткнуты ему под зад, чтобы хоть так спасти его от ветра. Он тоскливо рассматривал то, что мог рассмотреть:

сосны, что куполами подпирали небо, пни в папахах из рыхлого снега, что будто старики стояли вдоль всего пути. А ну один из них выхватит его из саней?..

«А-у-у!..» – послышалось сзади. Так кричат, заблудившись в лесу. В ответ раздалось громкое рыдание, и весь лес огласился воплями, похожими на плач аульных женщин по усопшему. Казалось, это плачут дети или воют аульные псы. А может, и вправду это аульные псы, которых они растревожили среди ночи?.. Мать свернула с дороги и, утопая по пояс в снегу, потянула сани к чему-то, черневшему в ночи. Это был стог сена. Он спас им жизнь...

...Мать, как заарканенная лошадь, всю ночь кружила вокруг стога, разжигая костерки и до утра таская к ним солому на санях. А сын сидел ни жив ни мертв на вершине стога, сидел неподвижно, как караульный. И всю ночь вокруг стога петляли большие серые собаки, много собак. Когда стало светать, они, вытянув морды к небу, принялись выть от досады и голода и, словно бы проваливаясь в сугробах, исчезали одна за другой. Мать тоже взобралась на вершину стога и обессиленно уснула рядом с сыном... Казалось, те собаки не просто выли, а исторгали из глоток своих звуки кобыза. С тех пор пение кобыза будит в нем безотчетный страх, он видит перед собой тех собак, готовых растерзать человека, и он видит полуобезумевшую мать, на ней не одежда, а какая-то рвань, лицо и руки в ожогах, в золе и саже, и на висках у нее белый иней. Он думал, от мороза. Но это была седина. Мать поседела в одну ночь. И в двадцать лет ее молодого лица коснулась маска старухи...

Из тряпья она достала пол-лепешки, что сунули ей из-за двери в доме Сигата. Лепешка застыла, была твердой как лед. Она отколола от нее кусок и, царапая до крови десна, стала ее разжевывать, а разжевав, стала вталкивать ему в рот мякиш, перемешанный с кровью.

– Не хочешь умирать – глотай! – приказала она. И призналась не столько ему, сколько себе: – Если б не ты, давно повесилась бы.

И еще ему врезалось в память: она никогда не показывала ему ни слез своих, ни своей слабости. Поползли слухи, будто между Аксу и Карагайлы волки съели женщину с ребенком.

– Может, и съели, – сказала мать. – На то они и волки. А женщина... Куда ей против стаи волков?..

И теперь каждый раз, когда он проходит по этой дороге, он вспоминает трескучий мороз той зимы, кусок стылой лепешки вперемешку с кровью и холодное, затвердевшее как камень лицо матери, ее голос, повелительный, жесткий: «Не хочешь умирать – глотай!..» И еще: «Если б не ты, давно бы повесилась». То ли Аллах явил ей особую милость, то ли виной всему несчастный случай, но на второй год войны, работая на лесозаготовках, она попала под обвал. Ее останки нашли уже летом – ее удалось опознать по золотому кольцу на пальце... В нагрудном кармане изодранного бешмета нашли фотографию годовалого сына. Вообще-то на той фотографии был и отец, он обнял сынишку, но отца мать вырезала ножницами – даже ему она не хотела верить свою единственную боль и радость. Прижав к груди под изодранным бешметом фотографию сына, она унесла ее с собой на тот свет. А он так и не смог поставить камень на могилу матери. Ну, пока был мал, не помышлял об этом: дай Бог уцелеть, просто выжить... Она, видно, знала, что умрет, а потому наказывала ему строго-настрою: «Когда умру, плакать не смей. И не оставайся здесь ни на минуту. Запомни: не то что вслух, про себя

не желай людям зла. Над нами рок – если проклянешь, проклятие сбудется». Из трех наказов матери два он выполняет неукоснительно, а вот третий – покинуть родные места! – все никак не решится. Золотое колечко берег как талисман, но какой-то шакал все же выкрал его в общежитии института.

...Сколько столбов осталось позади? Нет, не упомянуть, сбился со счета. Но показались крыши Карагайлы. А коли показались крыши, дорога пошла веселее. Минул еще один столб, и Бескемпир дал отдых ногам. Голову положил на рюкзак и, задрвав ноги на большущий камень, с наслаждением расслабился. Вот точно так же он расслаблялся на ковре после долгих изнурительных тренировок. Наверное, оттого, что били его крепко в детстве и он не мог дать сдачи, он до третьего курса упорно занимался спортом. Он уж готовился стать кандидатом в мастера по самбо, когда медкомиссия дала заключение, что у него туберкулез. Известие ошеломило, уже от одного названия проклятой болячки бросало в дрожь. Мучиться в больнице, потом заживо гнить... А не сбежать ли мне в аул? И сбежал. Ох-хо-хо, сломать бы проклятую хворь, выздороветь, а уж прожить на свете, и прожить безбедно, можно и калымщиком.

– Эй! С тобой все нормально?

С ушами, прилипшими к голове, с плоской башкой, остриженной под ежик, весь похожий на чурбачок, недоделанный и к тому же курносый стоял рядом с ним незнакомый калымщик.

– У меня-то все в норме. А у тебя?

– Ну, слава Богу! А то думаю: может, эпилептик?.. Кончай перекур, потопаем вместе.

И телеграфные столбы, не давая им свернуть с извилистой дороги, привели их прямехонько в Аксу. Считать оставшиеся километры Бескемпир не стал.

Глава десятая

1

Еще не встало солнышко, а в ауле ни свет ни заря стоял такой шум-гам, что, казалось, пожар приключился. А весь этот переполох – от пустого ведра, прибитого к столбу. По нему дубасили сразу трое: киргиз Илья, татарин Шамыша и казах Асет. Причем казалось, что ведро не просто грохочет, а вопит благим матом сразу на трех языках – голосами Ильи, Шамыша и Асета. Бескемпир, обычно сладко спавший на заре в глуши таежной, вскочил как ополоумевший, готовый хватать то ли багор, то ли мешок с песком, то ли брандспойт. А перед ним сидел за столом Мишель, выскребая из сковороды с жутким скрежетом остатки вчерашнего ужина. И сидел он при полном параде.

– Тебя что – прогнали среди ночи?

– Нет, я сам ушел.

– Ну и дурак.

– Тебе чего тут надо?

– Мне? Ничего.

– Да перестань ты скрежетать!..

Из спальни вышел Бекет. Вышел с таким видом, будто у него нестерпимая зубная боль. И тоже уставился на Мишеля все с тем же вопросом:

– Прогнали?

– Зачем? – обиделся Мишель. – Я сам ушел.

– Чего тебе тут надо?

– Мне? Ничего.

– Кто звал тебя сюда?

– Меня? А зачем меня звать? – удивился Мишель. – Я сам пришел.

– Вот радость-то!.. – Бекет на ходу натянул пижаму, сунул ноги в войлочные тапки и, пренебрегая дверями, распахнул окно, шагнув через него во двор.

Как осиротевшие ягнята, что цепляются за овечку, оставшуюся без приплода, они теперь не могут отлипнуть друг от друга, будто связаны одним пупком. Еще бы! Пуд соли съели вместе в бригаде калымщиков, когда жили коммуной, завися один от другого, и похлебка у них была из одного котла, и один костерок всем поровну давал тепло. Как ни ругай Жакыпа, они, бывало, толклись вокруг него, а теперь вот мычат, глядя на Бекета. Они не думали о том, кто и как выколачивает для них работу поденжной и раздобывает харчи. С начальством дело иметь не приходилось. Был погонщик, он сам за них все решал, а они знай волохали да получали денежки. А нынешний сезон кончился, и с ним кончилось все. И теперь как слепые щенята они остались ни с чем, на мели. Раньше казалось, что на свои деньги они могут закупить если не весь мир, то хотя бы поселок. Но захирел, накрылся леспромхоз, и от былой бесшабашности не осталось и следа. Стали подсчитывать лес для вырубки, и оказалось, что безразмерный каравай, от которого отламывали кусищами, не такой уж и безразмерный – мал каравай. Да и где он? Нет его, каравая. И Абдижапара, благодетеля калымщиков, тоже нет. То есть, он-то, Абдижапар, остался, а толку-то что? В сплавконтору, отошедшую лесхозу, теперь если кто и заглянет, то с пьяных глаз, лишь перепутав двери. Что ж, часть калымщиков сумела избавиться от замашек дикой тайги. Те, что посерьезней, перешли на оседлый образ жизни, обзавелись хозяйством да семьей. А таким как Мишель, у которых ни кола ни двора, ни жены ни детей, этим податься было некуда. Эти, как пишут в школьных учебниках, оказались лишними людьми. Деньжата, что были ими скоплены, в ауле потратить не на что. А главное – руки нечем занять. А кроме рук – что у них есть еще, кроме рук?.. Бекет вчера вечером сказал Бескемпиру, что затащил Мишеля к одной ядреной бабенке и наказал ей строго-настрога не выпускать его до утра. А он – здрасте-пожалуйте! – явился ни свет ни заря. Скребет сковороду... Оттащив обглоданные кости в помойное ведро на кухню, Мишель, как пес бродячий, обнюхал все четыре комнаты Бекета и пришел в восторг.

– Ойпырай! Да он разбогател... Сколько ж ему это стоило?

– Тебе-то что? – Бескемпир, прикрыв усы, парил щеки, чтоб легче бриться. – Стоило ему, а не тебе. Пять тысяч, кажется.

– Да ну! – у Мишеля челюсть отвисла. – Пять тысяч!.. И откуда деньги у людей берутся?

– У людей – не знаю. А ты можешь выложить на стол эти денежки, и Бекет тебе уступит свои хоромы. Ей-ей! Или я съем собственное ухо.

– Ешь! – разрешил ему Бекет, он как раз вошел в дом. – И вот что: оба собирайте свои чемоданы и... валийте на все четыре стороны. Тут вам не заезжий дом.

– Ты что – со сна не очухался? – воззрился Бескемпир на Бекета.

Бескемпир тоже не захотел жить в общежитии, притулился к Бекету – все не так одиноко. Но он не думал, что в тягость кому-то! Бескемпира можно было обляять

до семьдесят седьмого колена, никак его не смутив, но тут даже он был выбит из седла и обернулся к Мишелю: мол, я не ослышался? А тот, бедняга, суетился: крошки сметал со стола, хлебушек принялся резать ломтями, кинулся чайник ставить на огонь. Бекет отобрал у него чайник, а самого Мишеля выгнал из кухни.

– Я что вам – нянька, опекун? Вам не стыдно? Или я подрядился кормить-поить вас, жильем обеспечивать? Даже на постоялом дворе за ночлег платят деньги. А вы?

У Бескемпера был такой вид, будто на него ведро воды колодезной вылили. Кто бы мог подумать, что Бекет способен такое сказать? Неужели эти четыре комнаты, эта мебель ему дороже друзей? Или... или в нем заговорил начальник и он уж их за людей не считает?

Мишель сидел как мокрый суслик. Бросая тоскливые взгляды на сковороду, которую он только что опустошил и выскреб, он поеживался и пытался сказать слова, которые вставали у него поперек горла.

Наконец он проямлил:

– А сколько надо... заплатить?

– А сколько в горсть уместится. Не обеднеешь.

Мишель так и замер в оцепенении. Ну, с этим все ясно: ему легче помереть, чем расстаться с родимой копеечкой. У Бескемпера желваки на скулах дергались, будто он смертельно продрог. А Бекет надел новый костюм, нацепил золотые запонки, золотые часы и, накинув на шею удавку галстука, подошел к зеркалу. Он стоял перед зеркалом, но смотрел не на свое отражение, а на развешанные на стене портреты, сам их делал, выжигал по дереву шампуром. Портреты Бескемпера, Мишеля, Жакыпа, самого Бекета. А из-за дверцы буфета, с книжных полок на него выжидательно поглядывала обезьянка, сделанная из кривого сучка, полу-женщина – полулев, черт с оттопыренными ушами. Он усмехнулся, подмигнув им. «Чокнулся», – решил Бескемпир и тоже стал собираться. В этот момент, запыхавшись, с улицы влетел тот самый мужичонка – курносый с квадратной башкой, остриженной ежиком, ему в самый раз быть рядом с лопухим чертом на стене.

– Готов? – спросил его Бекет. – Тогда этих двоих за шкуру и – мигом в машину.

– Слушаюсь! – рявкнул тот, готовый и вправду схватить их за шкуру.

Мишель и Бескемпир молча начали собирать рюкзаки.

– А мешки зачем?

– Милостыню собирать! – опять заорал на них главный лесничий. – Вы оденьтесь получше. А ты, – ткнул он пальцем в Мишеля, – в карман положи тысячу рублей.

– Зачем? – спросил тот упавшим голосом.

– Надо.

– Нет, – замотал головой Мишель. – Не надо.

– Что – денег нет?

– Нет денег, – согласился тот обреченно.

– Опять в трусы зашил? Распарывай.

Бекет и плоскоголовый засунули их в машину, не дав им опомниться.

Толстенький, пузатый, как осенняя дрофа, «Узик» нанес визит в три места: сначала в кассу – за деньгами, потом на продсклад, впихнув в свое нутро ящик водки и две бутылки коньяку «Варчихи» – это же литр целый!.. Мишель, кото-

рый ухом не повел при виде ящика водки, когда услышал, сколько стоит коньяк... Бедняга! У него волосы дыбом встали – причем везде и все разом. Тут было отчего прийти в отчаяние. Бекет еще вчера объявил ему, что будут свататься за помощника главбуха, и заставил потратиться на сорок рублей. Какие траты? Уму непостижимо! Мишель не то что за день – за сорок лет, пожалуй что, такую сумму не потратил. А от сегодняшних расходов у кого хочешь может крыша поехать. Бескемпиру стало жалко Мишеля. Бедняга, чтобы выпить на халяву, готов был душу отдать, а уж если сам потратился, то вылизет все грани стопаря до доньшка. И сейчас он с перекошенным лицом сидел в «Узике», покорно предоставив Бекету грабить себя, «раздевать», что называется, до последней нитки. А Бекет – ну хоть бы немного пощадил несчастного! Бескемпир был поражен жестокостью Бекета, но и не присущая Мишелю покорность, с какой он позволял тратить свои деньги, была тоже ошеломительной.

Плоскоголовый, откликнувшийся на имя «Котыин», остановил машину перед сплавконтрой. Это было то третье место, в которое они должны были заехать. Бекет был непроницаем как сфинкс. Из конторы вышел Абдижапар. Он шел не спеша, преисполненный собственной важностью. Есенкуль тоже вышел не спеша, но не от важности, а от собственного жира. Абдижапар еле впихнул его в «Узик», а с ним и бумажный сверток, который сунул Мишелю.

– Держи, в рот тебе дышло! Да помни нашу доброту.

Облагодетельствовал, в общем. То, что он вручил как величайшую драгоценность, оказалось отрезом вельвета. Он и сам влез в машину, важно откинувшись на сиденье.

– Ничего не забыли?

– Никто не забыт, ничто не забыто, – ответил Бекет.

– Ага! – успокоился Абдижапар, увидев ящик водки. И начал разглагольствовать: – А невеста твоя – бесценное существо, какое не каждому достается. То, что она уже побывала замужем и вернулась домой, даже к лучшему. Опыт – великая штука. Главное – ей сноса не будет. Так бывает – на весь аул одна подкованная лошадка. И кто только на ней не ездил! А она, дай Бог ей здоровья, только выносливей и крепче.

Были в этих словах и горькая издевка, и пренебрежение, но пропустим их мимо ушей, подумал Бекет. Нам главное – сделать дело. Есенкуль сидел в обнимку со своим вздутым пузом, похохатывал довольный.

Абдижапар, который никогда с Мишелем не перебрасывался и словечком, потому как и за человека его не принимал, впрочем, и за собаку тоже, вдруг стал выказывать уж очень родственные чувства. Но тут же и прокололся, жадюга:

– Она приходится нам с Есенкулем... ну, где-то сестрой, – и уронил елейно: – Может, и нам подарки достанутся...

У Бескемпира даже сердце екнуло. Ведь этот пройдоха – он из кишки, усохшей сорок лет назад, сумеет выжать масло. Как бы он не объегорил Мишеля, не выпотрошил его. А бедному Мишелю что? Он был взволнован предстоящим сватовством, он не чуял ни издевок, ни пренебрежения, ни алчных, людоедских ноток в голосе Абдижапара. Но если что-нибудь случится, подумал Бескемпир, в ответе Бекет, затеявший всю эту заваруху.

Котыин тормознул, едва не задавив лохматую брехливую собаку, ретиво брошившуюся под колеса. Машина остановилась. И только тут Бескемпир заметил, что

все при галстуках, как на перевыборном собрании, все с выпученными глазами, потому как перетянута горло, смотрят друг на друга и лыбятся.

– Чур меня, чур! Да это же дом высохшего старика! – отпрянул Бекет.

– Ну и что? Нам не старик нужен, нам его дочь нужна, – резонно заметил Абдижапар. – А девушка, вернувшаяся домой после неудачного замужества, бесплатная находка. Только не поднимайте шума. Я все улажу.

И как полководец перед сражением, стал давать указания:

– Ты, Котыин, когда разгорится сватовство, собери все ненасытные рты этого аула. Чтоб старику не отвертеться. Мы его поставим перед пактом, – вообще тут требовалось слово «факт», но «пакт» звучало солиднее. – А ты, дружка, хоть соловьем заливайся, хоть волком вой, но чтобы треп не прекращался. Перехитри этих умников. Они же только прикидываются простаками, а сами только и зырят, где бы тебя надуть... Так... Деньги у кого?

– У меня, – сказал Бекет.

– Отдай Мишелю. В чьих руках старик увидит деньги, тому он готов как собака служить. А ты – ты у нас сват. Вовсю выставляй, что ты главный лесничий. Ходи пузато, морда кирпичом, глаз оловянный... Вперед, товарищи! На абордаж!..

3

Коли уж у твоих ворот остановилась подвода, кто ни есть в доме живой должен бы выглянуть на улицу. А тут – никого. Сваты долго и бестолково шатались по двору, не зная, как пройти в дом, потому что в какую дыру ни сунь голову, а попадешь в одну из бесчисленных вкривь и вкось прилепленных друг к другу клетушек, сараюшек и пристроек.

Есенкуль, неся свой живот как кадушку, которую можно невзначай и перевернуть, не удержал свою ношу, оступился, споткнулся и опрокинулся сам на себя, конечно же, с грохотом, ойканьем и матерками. Поглаживая зад, он поднялся, но тут же с чувством и проникновением сказал:

– У, мать твою так и разэтак!..

При этом в руке его оказалась пригоршня свежей коровьей лепешки, в которую он вляпался задней частью своих наутюженных светлых брюк.

– Это к богатству! – успокоил его Абдижапар. – Даст Бог, уйдешь с прибылью. Не вытирай.

– Эй, кто там? – крикнули изнутри.

Молодая на лицо, но громадная, как лосиха, женщина в кимешеке¹ стояла, закрыв собой вход. Чтоб и вовсе вход был недоступен, у ног ее рычал на сватов лохматый и не очень-то гостеприимный пес.

– Старика нет, – сказала она вместо всяких приветствий, давая с ходу понять, что самовар она ставить не будет и чаепитие им здесь не обломится.

– Старик ваш, наверное, не ушел на тот свет. Подождем, – и Абдижапар, отодвинув ее в сторону, будто она не женщина, а шкаф, вошел в дом.

Парни наощупь кой-как прошли лабиринт темных, хоть выколи глаз, клетушек. «Лосиха» завела их в одну их выемок, пустых словно воровской притон, и как сквозь землю провалилась, исчезла. Они стояли, не решаясь сделать и шага. Шагнешь в одну сторону, шишку набьешь о подпорку, шагнешь в другую – наступишь в лужу бог знает чего.

¹ Женский головной убор.

– Есеке, береги свою задницу, – послышался голос Абдижапар. – Особенно ту ее часть, где отметина.

– Да перестаньте вы! Тут не до шуток... Куда вы нас завели? Будто живьем в могилу сунули.

Когда уж совсем пали духом, удалось нащупать какую-то щель и сквозь нее проникнуть в комнату. Дом, видать, походил на коржун, и комнаты в нем шли гармошкой, одна за другой. Та, в которую они попали, была, по-видимому, средней, служила кухней. Здесь, несмотря на июльский зной, топилась печь, лицо так и обдало жаром.

В темноте показался кто-то новый:

– Проходите сюда.

Женский голос был приветливым, мягким, и, слава богу, в нем не было той хамоватой угрюмости, с какой их встретила «лосиха». Они очутились в небольшой горнице, которая вся как есть была застлана половиками. Молоденькая женщина, очень даже вся из себя ничего, расстелила им одеяла, каждому бросила пуховые подушки и, сорвав с окон газеты, исчезла.

Есенкуль бережно возложил свой живот на подушку, сам прилег рядом:

– Если она та, за которой приехали, тебе повезло. За такую можно отвалить корову, – он говорил завистливо, как бы ревнуя молодку к Мишелю. – Интересно, сколько ей лет?

– По-моему, в этом доме всего одна девушка, которая вернулась и которую не могут выдать, – сказал Абдижапар. – Сколько ей лет? А ты глянь сюда, – и он указал на узорный ковер над кроватью. На ковре было выткано: «Жамиля 1950 г.».

– Да ей всего двадцать лет! – Есенкуль воровскими глазами обшарил всю комнату, споткнувшись взглядом о штабеля одеял в углу горницы. – Это ж сколько раз можно укрыться, а? Слышь, тебе не жена достается, а целый склад.

– Есеке, ты все это приборсь на счетах. Чтобы не просчитаться, – сказал Абдижапар. – Чтобы мы взяли все, что нам положено.

– Я и так вижу. Если не считать того, что лежит на полу. Тут добра на две-три тысячи.

У Мишеля глаза полезли на лоб. Но он был начеку. И наклоняясь по очереди сначала к Бекету, потом в Бескемпиру, которые лежали по обе стороны от него, он шепнул:

– Пятьсот!

– Тысяча, не то вернешься ни с чем, – пригрозил Бекет. – Это твой последний шанс. Иначе без жены помрешь.

– Годится, – сказал Мишель и больше ни слова не произнес, застыл на какое-то время как истукан.

Никогда в жизни не надевавший галстука, он чувствовал себя как в ошейнике, он задыхался, вены на висках вздулись и посинели. «Годится» было сказано то ли по поводу достоинств невесты, то ли в связи с окончательной суммой калыма, с которой он наконец-то смирился. Так или иначе, но он расслабился, вытянул ноги, и все заметили, что носки у него дырявые, будто их теленок сжевал, а из дырок выглядывают – нет, не пальцы, медвежьи когти.

– Надень ботинки, кретин, – с омерзением сказал Бескемпир.

Мишель ринулся к двери и притиснул к косяку Жамилю, она как раз вкатывала в горницу круглый столик. На кухне он нырнул в ботинки и ринулся назад,

теперь уже притиснув к косяку «лосиху», которой надо б уступить дорогу, но он очень спешил на свое место, они так и протиснулись вдвоем. Был накрыт стол, и рахитичный древний самовар пыхтел, приветствуя гостей, может быть, и почетных и почтенных, но не очень-то званных.

«Лосиха», с лица казавшаяся только что молодой, уже таковой не казалась. Брови насуплены, губы поджаты. Свое недовольство приходом гостей она выразила и тем, что не просто села, а обрушила весь груз своего зада на стеганое одеяло мол, шлятся тут всякие. Востроносая, губы вздернуты, на голове – не чалма, а фата, как снежный ком на широченном пне. Посидев с полминуты с таким видом, будто у нее вдруг разболелись зубы, она стала разравнивать на столе баурсаки, которые и так лежали негусто, а если вправду сказать – реденько лежали они на столе, вид у них был сиротский, но она и тут исхитрилась большую половину баурсаков придвинуть к себе. Жамиля, опустившись на корточки у самовара, открыла крышку белого чайника.

– Апа, – сказала она и выжидательно посмотрела на мать.

Та в свою очередь пристально посмотрела на пустое дно чайника и, запустив руку в прорезь платья, долго рылась в окрестностях своего бюста, пока не извлекла оттуда ключи, нанизанные на веревку из верблюжьей шерсти. Гости, сглотнув слюну, замороженно наблюдали за этим действием, не зная, то ли плакать, то ли смеяться. Мишеля мучило удушье, будто на шее у него был не галстук, а та самая веревка из верблюжьей шерсти. У всех в глазах было сочувствие: дескать, если это твоя теща, то прими наши искренние соболезнования. Звякнув щекоткой, открылся кованный, или, как говорят, колокольчатый певчий сундук. «Лосиха» подтянула его к себе поближе, с недовольством запустила руку в мешочек, где угадывался брусок кирпичного чая, и, после мучительных сомнений, отломив кусочек, бросила его в чайник. Впрочем, тут же засомневалась вновь и теперь уж пыталась просунуть пальцы в чайник, чтобы выловить на ее взгляд оказавшиеся лишними крупинки. Жамиля покраснела. Коричневые конопушки на лбу и скулах у нее исчезли, и зардевшееся лицо стало застенчивым и нежным. Все невольно засмотрелись на нее, и она, вконец смутившись, потупилась.

Когда молчание затянулось до неприличия и у всех забурчало в животе от томительного ожидания, был подан чай. Хозяйка певучего сундука строго следила за рукой дочери, сколько ложек молока та плеснула в пиалушки и не перелила ли она кому заварки, и без того цедившейся каплями. Дочь снова осмотрела дастархан.

– Апа, – опять сказала она матери.

Та явно осерчала: чего, дескать, тебе нейдется? Но ее толстые пальцы вновь нырнули в прорезь платья, и вновь была извлечена связка ключей, и вновь звякнул сундук, готовый укусь за палец любого постороннего, если тот ненароком сунется под окованную жестью крышку. Столь долгие мучительные хлопоты увенчались появлением на божий свет кусочков рафинада, брошенных по одному перед каждым из гостей. Ну, это уже была щедрость сверх меры, и облагодетельствовавшая своих гостей «лосиха» решительно развернула самовар вместе с подносом к себе и, как следствие, цвет чая стал светлее. Бедная девушка готова была со стыда провалиться.

Заерзал на своем месте и Есенкуль:

– Что-то аксакал задерживается, – он было перевернул пиалу вверх дном, но от толчка вбок кулаком Абдижапара решил продолжить чаепитие.

– Аксакал – человек дела. Он придет в самый раз, когда надо, – сказал Абдижапар, давая понять парням, чтобы они не рыпались.

Дочь посмотрела на мать. Та оставалась невозмутимой.

– Старик свалился, что-то занемог, – и она не без угрозы глянула на дочь.

Жамиля, не находившая себе место за этим нищенским дастарханом да еще оставшаяся не у дел после того как у нее отобрали самовар с чайником, на этот раз пошла наперекор материнской воле.

– Если у вас дело к отцу, то он ведь рядом. А если можно дело решить без него, то мы ведь тоже на что-то годимся.

То было, конечно, неслыханной дерзостью с ее стороны. Даже Абдижапар, старательно пивший жиденский чай и делавший вид, что все должно быть так и только так, как бы споткнулся после этих слов девушки и незаметно двинул плечом Бекета: «Что будем делать?» Но Бекет то ли не понял намека, то ли не хотел брать ответственность на себя, сидел невозмутимо, как мулла, собравшийся читать аят. Вся тяжесть груза опять ложилась на Абдижапара.

Ну что ж:

– Наше желание вряд ли ограничится гривой коня. Да и жира на горбе верблюда нам маловато.

То есть ты хоть повисни на связке собственных ключей, а старика мы будем ждать в любом случае. И чтоб уж наверняка подействовало, добавил:

– Съев одного барашка аксакала, мы, конечно же, спешить не будем. Отдохнем, уважим этот дом.

– Барашек найдется, было б кому заколоть, – опять встряла девушка.

«Лосиха» так и зыркнула глазами:

– Скотина-то есть, да зиму только-только пережили. Скот отощал, не набирает веса, – она хоть так пыталась предотвратить разор, уберечь ярочку, что уплывала из рук.

Какая там овца? У этой скряги овечьих катышков не выпросить на угощение.

Абдижапар дал задний ход:

– Это я пошутил, хозяйюшка. А чай у вас отменный!

Из прихожей послышался старческий кашель. А Жамиля, видать, устала от напряжения, от унижений. Сидеть ломаться перед всеми – не в ее характере. Она попросту встала и ушла, оставив за матерью и поле битвы, и власть над останками дастархана.

Тут же, перегнувшись будто коромысло, вошел старик. Парни вскочили с мест, шумно приветствуя хозяина дома. Он лишь нехотя губы скривил. Абдижапару, протянувшему обе руки, дал подержаться за кончики пальцев. Абдижапара пере-дернуло, но он сдержался. Он видел, старик нюхом чувствует выгоду. «Вот бы оставить с носом этот трухлявый пень!..» Согнувшись в три погибели, старик сел рядом со своей необъятной женой. Его сухие крючковатые колени рядом с ее обширными боками напоминали жалкую полоску суши в морских просторах. Но этот обглоданный пень строил из себя могучее дерево. Покачиваясь, важничал, не торопясь с расспросами о житье-бытье гостей, а главное, о том, что за нужда привела их в его щедрый и гостеприимный дом. Абдижапар проследил за тем, как «лосиха» все сливки выловила старику в пиалушку и туда же выцедила всю оставшуюся заварку. Дескать, все угощение ваше на этом закончилось: нет вашему сиденью, есть – вашему ухodu.

Старик просек этот маневр и, поглаживая стертые до ткани проплешины на коленях своих когда-то бархатных штанов, спросил:

– Я вижу тут солидных людей. Скажите, уважаемые: кто вы такие? – и уставился на них, как баран на новые ворота.

Ну не мог Абдижапар больше сдерживаться, не мог!

– Тебе что – глаза бельмом затянуло? А ты вспомни, не вчера ли ты нас гонял по колхозному полю? Забыл? Из-за горсточки колосков, которым все одно гнить. Мы улепетывали на своих двоих, а ты гнался за нами на кобыле-трехлетке. Забы-ыл... Мы-то помним, что ты не просто старый пень, мы помним, что звать тебя Масакбаем. Ведь на глазах твоих бельмастых выросли. Чего это вдруг ты перестал нас узнавать?

– Ну-у, вчера... я гонял их. Вчерашними колосками сыт не будешь. Зато сегодня ты грызешь казы. И не подавишься!.. Я ладно: кого-то гонял, кого-то подкармливал, от себя отрывая кусок. А вот чтобы ты от себя кусок оторвал, я такого что-то не припомню.

– Тогда о деле, – сказал Абдижапар и перевернул вверх пиалу, отодвинув от себя затвердевшие баурсаки.

– Что ж, давай о деле, – согласился старик.

Цену себе набивает, старый сквалыга. Но Абдижапар знал: сколько бы Масакбай не кочевряжился, а если его помуржжить хорошенько, бока ему пообмять да прищипнуть, он как миленький будет в руках Абдижапара. Для этого нужен крючок, нужна наживка. К тому же надо знать натуру этого сквалыги: будучи мелкой рыбешкой, он норовит сорвать наживку щуки. Одной ногой уж в могиле, пора бы о душе, о Боге подумать, а он все мошну набивает, все целит на кусок, который шире рта. Ни перед чем не остановится. Дочь было вышла замуж, так он вернул ее назад, потому как мало ему было тех свадебных подношений, которые он получил. Он, поди, и говно свое сначала проверит, нельзя ли выгоду извлечь, прежде чем расстанется с ним. Ну да ладно: горбатого могила исправит. И Абдижапар, давая понять, что переходит к главному, моргнул Котыину, и лишь только плоская голова исчезла за порогом, повернулся к старику.

– Масеке, – начал он с предельным уважением. – Говорят, если просишь айран, не прячь ведра. Мы знаем, в этом доме есть птичка с окрепшими крыльями. Мы пришли на нее своего сокола спустить! – от такого красноречия у него кончился воздух в легких, и он сделал паузу, чтобы глубже вздохнуть. – Вот сидит Бекет – главный лесничий этого лесхоза, он же и главный сват. Рядом – Бескемфир, поэт-импровизатор, которого никто еще не смог перепеть во всем Алтайском крае. А между ними, если Богу будет угодно, сидит желающий стать вашим зятем Миш... Меш... – Абдижапар поперхнулся. Черт бы его побрал, этого жениха, он даже не спросил, как его зовут, потому что Мешел было прозвищем, в насмешку переделанным в Мишель. Как же его зовут?.. Кто-то прошипел чуть ли не из-под стола: «Кобланды». – Да, так вот мы хотим нашего джигита Кобланды в этот удачный день среды поставить на ноги. За ним нет худой славы: он не алиментщик, не картежник, не пьет, не курит... – при этом Абдижапар пнул под столом ногу Бескемфира, который, делая вид, что закашлялся, трясся от хохота. Бекет тоже с трудом одолевал приступ смеха. И Абдижапар почти с угрозой подбил итоги: – Не парень – золото.

– И откуда же такая напасть? – спросил Масакбай.

– Ты про жениха?

– А про кого же?

– Да он здешний.

– Я о его происхождении говорю: какого он роду-племени? – старик, как никогда, был преисполнен важности. – Обычай казахов – парня узнать до седьмого колена, а потом уж решать: выдавать за него или нет.

– Да ты что? Ты, может, его родословную затребуешь? – возмутился Абдижапар. – Ты сам-то хоть знаешь, из какого ты рода?

– Мы – керей, – старик держал марку.

– А-а, керей! Значит, пришлый, – мстительно поддел его Абдижапар

– А перед пришлым можно распоясаться и обнаглеть, – ответил выпадом на выпад старик. Они как два барана, что сошлись на жердочке и уперлись лбами.

Но в бодании Абдижапар, видать, был посильнее. Старик начал сдавать позиции:

– Сами видите: единственная дочь. От сердца отрываем. Можем ли мы встать на ее пути? Нет, не можем. Как она решит, так и будет. Но... но у нас есть родственники, – нашелся старик. Даже падая, он попытался оказать сопротивление.

– С ними тоже надо посоветоваться.

Впрочем, это уже не имело значения. Абдижапар почувствовал: суть препирательства исчерпана, осталось только сторговаться. Он сделал знак Бескемпиру, тот подал ему черную сумку, из которой был извлечен и брошен перед стариком вельвет.

– Это начало подношений, – сделал он широкий жест. Но тут же и пригрозил: – Откажешься от жениха, будешь должником перед Богом.

Ну, старика такими штучками не запугаешь. Вельвет ему не пришелся по вкусу, он даже фыркнул:

– Ни Бог, ни подачки твои не заменят мне дочь, – он и впрямь будто мучился предстоящей разлукой. – Я говорю тебе: она – единственная у меня.

Теперь пришла пора Мишелю показать себя. Чай он любил, но не до такой степени, чтобы сливать в себя безмерное количество замутненной воды байбише. Он уже так надулся этой водицы, что походил на корову, объевшуюся клевером. Ворочая руками, как лапами, он с трудом вытащил деньги и бросил их на стол, но как-то так бросил, чтоб старик их видел, а дотянуться до них не мог. Абдижапар, пошептавшись с Бекетом, прикинули на глазок, какая там может быть сумма.

Голос Абдижапара обрек уверенность:

– Здесь тысяча рублей. Они лишь начало подношений Кобланды.

Старик при виде денег всполошился. Он испугался, что жена может вмешаться в торги и испортить все дело, продешевив, но еще больше он испугался, что две пачки пятирублевков, что бугрились на столе, попадут в ее мешок, а этого он допустить не мог. Властно сказав: «Зови свою дочь», – он согнал ее с насиженного места за дастарханом.

Старуха была в отчаянии:

– О Боже!.. Неужели опять отдам единственную дочь в чужие люди! Опять укорочу себе руки... – она была близка к истине, поскольку лишалась бесплатной служанки.

– Что делать, что делать... Такая наша доля, – у старика тоже увлажнились глаза.

Он уже чувствовал себя обладателем желанной тысячи рублей, вот только не мог до нее дотянуться.

И все бы оно шло как по маслу, но нагрязнула Жамиля, как гуся лапчатого погоняя впереди себя Котыина. В ее глазах стояли слезы, она не присела даже:

– Люди добрые, что же вы без меня замуж меня выдаете? Хоть жениха покажите...

Все в испуге усталились на Мишеля. Жених, который только что сидел круглый как кадушка, съезжился, будто из него выпустили воздух, он жался к земле готовый куда-нибудь уползти по-пластунски.

– Эй, Кобланды! Где ты? – призвал его к ответу Абдижапар. – Ты хоть разочек яви свой светлый лик.

Не привыкший к своему новому имени, Мишель исходил потом, затравленно озирался. Масакбай был даже горд тем, что дочь так смело вошла и вмешалась в сватовство. Он свысока глянул на всех и, священнодействуя, достал из-за голенища шакша¹, которую никогда в жизни никому не показывал. Он с такой важностью отсыпал крупинки табака в ладонь, будто одна понюшка, к которой готовился, вознесет его до небес, но понюшку эту, которую он доставал, яки ртуть, он так до ноздрей и не донес. Жамиля схватила лежавший перед отцом вельвет, смяла его и бросила Мишелю. Таким же манером она вернула ему и деньги.

– Хоть ты Кобланды, но не такой богач, чтобы сорить деньгами. А я... я не раскрасавица Куртка², чтобы за меня платить еще и деньги, – она резала правду-матку в глаза, ей было все равно, что о ней могут подумать. – Сколько можно торговать моей головой? Я что – корова или лошадь? Продам, купил, перепродал... Это правда, что ты пришел за мной?

У Мишеля отнялся язык. Он в ужасе смотре то на Бекета, то на Абдижапара. А Жамиля закусил удила, ей уж не было удержу.

– Так правда или нет?.. Если правда, бери вон тот пустой чемодан и меня вместе с ним в придачу. Ты не будешь гоношиться, что купил меня, а я не буду слезы проливать, что продалась.

Старик был ошеломлен, будто его взяли в плен спящим. От его чванства не осталось и следа, как, впрочем, полопались словно мыльные пузыри и все высокопарные слова Абдижапара. Лишь вопль «лосихи», завизжавшей так, будто ее режут, огласил весь аул. Впрочем, что она орала, разобрать было трудно, кроме слова «позор» и возгласов «ой-бай!..».

Напуганные воплями будущей тещи Мишеля, сваты бросились врассыпную. Зажимая уши, выбрался из клетушек Абдижапар. Таща за собой мешки с нерозданными подарками, вышли Бекет с Бескемпиром. Ведя за собой Мишеля, вышла Жамиля. Вышел и Есенкуль, держась одной рукой за голову, другой обнимая, чтобы не уронить, живот.

– У, мать твою так и разэдак!

Он огляделся вокруг и спросил в удивлении:

– А я сюда зачем пришел?

На лбу его вспухла шишка. Видать, спасая свой живот от воплей тещи Мишеля, он пободался в темноте с одной из подпорок в клетушках.

– Нет, вы мне ответьте: я сюда зачем пришел?

– А хорошо, что мы не выставили ящики, – сказал Котыин. И нажал на стартер.

¹ Флакон из рога для табака – насыбая.

² Герой казахского эпоса «Кобланды-батыр».

Глава одиннадцатая

1

– Эй, Кобланды! К тебе пришли...

Мишель от страха лег на дно арыка. Кайло рукоятки ударило его по лбу, а он и не почувствовал боли – не до этого. Только бы макушка не выглядывала над арыком.

И тот же голос озадаченно:

– Надо же – дворняжку назвать волкодавом...

Это имя принесло ему беду. Какой он, к черту, Кобланды? Ни кожи, ни рожи, ни стати, ни мужества. Мешелом был, Мешелом и остался. Ну и пусть Мишелем – какая разница? Но Кобланды!.. Издевка, и только.

А милиционер, как божий глас, трубит на всю площадь, заглядывая в арык:

– Эй, ты, что ли, Кобланды?

– Ну я. А что?

– А то. Пришли к тебе. Глухой, что ли?

– Ко мне? А у меня здесь никого. Я сирота и одинокий.

– А ну-ка встань, тебе говорят! – милиционер даже пнул его в зад для острастки. – Ишь, стыдится еще!..

Мишель сник. Как собака побитая вылез из арыка, боясь глаза поднять. Вокруг же люди! И место будто нарочно им подобрали: кинотеатр, а рядом – магазин. Он все поглядывал на своих напарников, их с десятков будет, как они? А никак. Копают себе траншею для телефонного кабеля – и никакого смущения. Морды небритые, как у псов, вид страхолюдный... Ну и компания!..

– Иди, иди. Вот – в саду сидит! – милиционер подтолкнул его в нужном направлении. – Даю тебе полчаса. Сбежишь – пеняй на себя.

В те пятнадцать суток, что пришлось Мишелю отсидеть за хулиганство, он постарел считай что на пятнадцать лет. От понапраслины, которую нагородили на него родители Жамили, конечно же, стоял ком в горле. Но еще страшнее то, что его выставили на всеобщее позорище, и под обстрелом глаз людских он должен принародно делать всю эту унижительную работу: чистить парк, базар подметать, таскать ящики и мешки в магазинах. Да еще три раза в день их строем гоняют в столовку общепита. Уж лучше б дали срок и упекли куда-нибудь подальше.

Увидев его остриженную под нулевку голову и торчавшие как ручки от кастрюли уши, Жамиля расплакалась. Мишель растерялся, стал бормотать ей что-то невнятное, а она разревелась пуще прежнего, будто проводила мужа в царских одеждах, а встретила в саване.

– Ты что!.. Перестань. Люди увидят.

По нему никто никогда так не плакал и не убивался. И он размяк, и у него набежали слезы.

Чтобы скрыть их, он начал строжиться:

– Зачем пришла? Я и сам через десять дней освободился бы и притопал.

Но тут же с жадностью задал вопрос, который никогда не задавал в своей жизни:

– Как там парни? Держатся?..

Он погладил по голове жену, ладошками вытер ей слезы. Это он тоже делал впервые.

– Ну, будет, будет... Айналайын!.. – эти слова он тоже впервые говорил.

Половину времени, отпущенного им их ангелом-хранителем милиционером, Жамиля проплакала. Вторую половину она всхлипывала, успокаиваясь. И не успел Мишель произнести: «Ну, как ты там?» – раздался окрик караульного:

– Эй, Алпамыс!.. Или как тебя там? Кобланды! – но, видно, глянул на Жамилю и что-то понял, и махнул рукой. – Ладно, сам придешь в КПЗ. Только не опаздывай, успевай в мое дежурство. А то – смотри!..

Мишель, который только что ежился от одного лишь голоса милиционера, сейчас готов был обнять его как брата родного.

– Тебя что – били? – опять всхлипнула Жамиля.

– Откуда ты взяла?

– А почему на лбу шишка?

– Да это я... ушибся.

– Скрываешь. Били ведь, били...

2

Он никогда не думал, что Жамиля способна на такой поступок. Пришла. Сама... Он снова расчувствовался и потянулся было обнять ее, поцеловать, но тут какая-то старуха, которая гонялась по скверу за коровой, будь она неладна, испугнула его. Да еще, ведьма старая, начала выговаривать, мол, бутылки пустые бросают всякие бродяжки и мусорят почем зря.

– И костюм тебе увазякали, – сказала Жамиля.

Когда он шел с повесткой к следователю, оделся как на свадьбу, во все новое: на нем был черный костюм и белая нейлоновая рубашка, которую, было дело, купил Жакып. Кой дьявол знал, что впереди его ждет рай этих пятнадцати суток!..

– Бекет и Бескемпир тебе привет передавали, – перешла наконец-то к аульным новостям Жамиля. – Бескемпир улетел в Алма-Ату – госэкзамены. Бекету до сих пор треплют нервы.

– За что?

– Да все Абдижапар. Это он состряпал жалобу от имени отца и отнес прокурору. А Есенкуль брюхатый заявил, что его избили и он потерпевший.

– Не может быть!

– И отец тоже хорош. Глаза завидушие, руки загребушие... Когда узнал, чем это кончилось, за голову схватился.

– Говорил я тебе, отдадим ему деньги...

– Да стыдно же! Дать взятку родному отцу?

– Ага, отца ей жалко. А он тебя пожалел?

Что скажешь на это? Мишель, с которым она прожила двадцать дней, ей был родней и ближе, чем отец, который двадцать лет, вроде бы, кормил-поил, обувал-одевал ее. Стало обидно, захотелось, чтобы ее и впрямь пожалели, глаза щипало, лицо дергалось, и она изо всех сил старалась не заплакать снова. Она жалась к Мишелю, будто озябла и хотела согреться. А он смотрел на ее натруженные руки: ладони потрескались, огрубели...

– Меня Бекет на работу устроил. В питомнике саженцы окучиваю, – вздохнула она. – И на квартиру пустил. В общежитии – там чуть не заклевали: мол, мужа в тюрьму засадила.

– А неприятности какие у Бекета?

– Да всякое болтают. Говорят, директор на пенсию уходит, а в его кресло хочет сесть Абдижапар. И на всякий случай, чтобы не вздумали Бекета назначить директором, он сообщил в район, что Бекет, мол, кому-то помог выкрасть чью-то дочь и замуж выдать без ее согласия. Мало того – избил человека, и чего-то еще натворил. А Бекет как раз подал заявление в партию, так его заявление рассматривать не стали.

– Ну и с-скотина!.. – Мишель даже с места вскочил. – Мать твою перемать... Вот выйду отсюда – все в ход пуцу.

Жамиля знала, что, говоря «все в ход пуцу», он имеет в виду свои деньги, а из-за этих денег и без того уже случилось столько бед. И она попыталась отвлечь мужа, увести разговор в сторону.

– А я тебе купила костюм, брюки и пальто.

Но делать нечего, тут же и призналась смущенно:

– И деньги все истратила.

– Да денег хватит! Слышишь! Денег у меня навалом. Аж сорок девять тысяч! Да еще – пятьдесят рублей и пятьдесят пять копеек.

Жамиля испугалась:

– Зачем они нам? Мы и без них... Только бы ты у меня был жив-здоров.

– Вот голова безмозглая! – Мишель даже костяшками пальцев постучал по своей остриженной наголо макушке. – Будь чуть умней, пораньше задумался бы о жизни своей непутевой, не упустил бы времени. Кретин! До сорока лет все под себя греб.

– Чего греб? – не поняла она.

– Деньги, чего же еще! Что – не веришь?

Она опять испугалась.

– Если чужие, отдай. Не нужны они нам. От греха подальше...

– Да мои они, кровные, не украд я их, а заработал. Тяжким, честным трудом. И теперь я хочу, чтобы от них был хоть какой-нибудь толк. Чтоб они были не в тягость, а в радость. Понимаешь?.. А иначе в чем смысл жизни?

Ну, если сорокалетний Мишель не знал, в чем смысл жизни, почем знать о том двадцатилетней Жамиле? Конечно, и она пыталась найти свою колею, торкалась в какие-то двери, но колея была не та, а двери – чужие. Одно у нее не отнять: безотказная она в работе, расторопная и ловкая. Родителям радоваться бы такой дочери, но у них на уме только деньги. Они и дочку замуж выдавали – еще в первый раз, до Мишеля – в надежде отхватить куш покрупнее. Выдать-то выдали, но денегат вроде как недобрали, обиделись: мол, если не глянется у жениха, возвращайся. Она и вернулась. И что хорошего? Стариться в девках вроде негоже, снова надо бы замуж. Тут и подвернулся Мишель. Не красавец, конечно, но с лица воду не пить, а человек, видать, участливый, добрый. Родители и тут наострились сорвать свой свадебный приз, но она дала им полный отлуп, оставила с носом. Когда разгорался сыр-бор из-за неудачного, как считали родители, сватовства, она самолично написала заявление в милицию: что замуж вышла не по принуждению, а по своей доброй воле, и уходит от мужа, как этого требуют родители, не хочет. Она писала это в святой вере, что закон ее защитит. Она или не знала, или забыла: закон что дышло, – куда повернул, туда и вышло. В общем, три раза приходила повестка Мишелю, и

три раза она чуть ли на порог не ложилась: не пушу! Потом отступилась: что его там – съедят, что ли? На то она и милиция, чтобы нас защищать... День его нет, другой, и вдруг – известие: Мишель побил, дескать, следователя и сидит в тюрьме! Она как услышала, так и рванулась в Аксу. Ночь ли, день – не помнит, а мысль одна: муж в беде, ему нужна помощь. И вот что ее взащей толкало к мужу: любовь? страх? жалость? А то, что семье угрожала опасность, а в семье-то как раз и заключен, наверно, смысл жизни...

– Зачем побил следователя?

– Затем что сволочь! Протокол фиктивный состряпал и говорит: подпиши.

– И подписал бы.

– Да? А как я потом смотрел бы людям в глаза? Он ведь что надумал, этот мент? Скажи, мол, что Бекет подбил тебя украсть девушку. Родители ее, дескать, престарелые, их Бекет припугнул, чтоб не жаловались... Да, и еще он на что нажимал: что он, мол, твой родственник.

– Он?!

– Я ж говорю: бесстыжая рожа этот мент!

– Погоди... А он и в самом деле родич. Бывшего мужа. Видно, в убытке остался.

Вот и злится теперь.

Жамиля не привыкла утаивать мысли и чувства, она сказала все напрямик, без обиняков. Мишель нахмурился, и она прикусила губу: зря она обмолвилась про бывшего мужа. Неужто, поскользнувшись однажды на грязной кочке, будешь всю жизнь о нее спотыкаться?..

Жамиля проводила Мишеля до ворот КПЗ. И только тут спохватилась, что пришла с пустыми руками, ей и передать нечего мужу. А ведь в такую даль тащилась!.. Надо было расставаться, а ей так не хотелось оставлять его одного. Но солнышко уже клонилось к ночи, а Жамиле и заночевать-то негде.

– Ну, мне пора, – сказала она, поправила воротничок Мишелю, стряхнула пылинку с плеча и никак не могла уйти. – А можно я с тобой останусь... здесь, в тюрьме?

– Ты что – рехнулась?.. Или... Ну?.. Уходи, ради Бога! – и он, сгорбившись, будто за ним гнались, шмыгнул в ворота.

2

Его уж загнали в барак за железными решетками, а он все оглядывался на окно, будто там, под этим окном, бродит Жамиля, не находя себе места. И, все оглядываясь, стал забираться на второй этаж нар, а там сидел парень, сидел и безутешно плакал.

– Побили? – спросил Мишель.

– По бабушке соскучился, – ответил парень в полной безнадеге.

– Ишь ты! – восхитился Мишель. – А в армию возьмут? Ты что – бабку с собой заберешь? Ты возьми, чтоб не скучать.

Но у него самого на душе скребли кошки. Оказывается, и он за эти пять дней кое о ком соскучился. И не только о жене. Ему вспомнились незабвенные дни таежной вольницы, когда он жил, никак не ценя золотые мгновения проходящего времени. И сейчас ему стало обидно, что он так бездумно транжирил свою жизнь, связав ее с таежными бродягами. И что хорошего он видел там, в тайге? Да ничего. И не было у него ни детства, ни юности... Только сейчас вот блеснул

робкий лучик радости, но может ли он осветить-согреть всю его сиротскую беспросветную жизнь? Нет, теперь он будет жить иначе, чтоб потом не горевать, не печалиться об утраченном времени. А таежную вольницу он вспомнил не от хорошей жизни. Там простор и свежий воздух, а здесь, в прокопченном зарешеченном бараке, такая вонь стоит, что хоть топор вешай. Быть запертым в одной норе со всяким сбродом – испытание тоже не из легких. Вот гонялся я всю жизнь за рублем, за копейкой, не помня самого себя. Накопил денег, наскреб. А за чем? Чтоб жрать из одной миски с этим сбродом, от которого с души воротит? Вот спасибо-то, вот спасибо!..

Открылись с лязгом и закрылись двери, впусив новичка. Впрочем, точнее бы сказать: старичка-старожила.

– Эй, братва! Сам Кутузов явился, фельдмаршал, – зашелестели вокруг голоса.

– Встать! Фельдмаршал идет, – вякнул кто-то, но тут же и сник, получив подзатыльник.

Фельдмаршал был плюгав и потрепан, как драная кошка. Впрочем, обнаружилось и сходство с Кутузовым – у этого в наличии имелся лишь один глаз. Угу, все ясно: подзаборную шавку прозвали волкодавом... Но ведь и тебя в насмешку величают Кобланды, устыдился он своих мыслей, а устыдившись, снова лег на соломенный тюфячок.

Вновь прибывший постоял немного в центре барака, жмурясь и как бы наслаждаясь запахами отчего дома, по которому, как видно, скучал. И двинулся прямехонько к Мишелю. А подойдя, брезгливо ткнул в него перстом.

– Кто это?

– Наполеон! – услужливо хохотнул кто-то из шестерок. – С генштабом не поладил. Его и определили к нам. На двухнедельный отдых.

Фельдмаршал зло смотрел шакальим глазом на Мишеля.

– Чего надо? – спросил Мишель.

– Место. Оно мое. Я тут прописан.

– А в морду не хочешь?

– В морду? А зачем? Тебе же припечатают еще пятнадцать суток.

Мишель засомневался, но просьбу не выполнил.

– Ладно, уступлю тебе место, – сказал Кутузов, как бы подчеркивая, что он здесь бог и царь, но и не без опаски глядя на Мишеля. Во всяком случае фельдмаршал больше к нему не цеплялся.

А Мишель расстроился еще сильнее. Надо же, какой-то шелудивый пес, и тот над ним глумится! Ну почему я не выдал ему сполна всего, что он заслужил?.. Хотя такого не то что бить – ему и в рожу-то плевать не захочешь... Когда Мишель увидел вместо глаза мокрую, сочившуюся дырку, он с содроганием вспомнил отчима. Ничего не скажешь, добрую память оставил тот о себе. Его вновь передернуло, будто и впрямь перед ним был его родненький отчим, тоже падал и гниль, он каждый божий день надирался до полусмерти, а вечером отводил душу, избивая беззащитного пасынка...

Отца Мишель почти не помнит. Дело обычное: ушел отец на войну и не вернулся. Но чтоб не чувствовать всей горечи сиротства, Мишель взял себе в отцы усатого казаха с фотографии, тот был в буденовке и в португее и будоражил воображение пацана. Но отчим как-то, круша все подряд под горячую хмельную руку, порвал и фотографию, опять осиротив мальчишку.

Он часто вспоминает мать. Она в двадцать лет осталась вдовой с малышом на руках. И за одноглазого пьянчужку вышла замуж не от хорошей жизни. Ах, как она старалась быть ему верной женой! Трех родила, надеясь на лучшую долю, но только себя обнесчастлила и малых горемык оставила после ранней кончины своей. Она всю жизнь положила на то, чтобы кормить-поить эту скотину безрогую, стервятника одноглазого. Он с весны до осени пропадал в тайге, плоты гонял, а с холодами, спустив все до нитки, являлся домой. И с печи не слазил полгода. То есть, слазил, конечно, чтобы принять очередную дозу и поразмять кулаки. А бедная мать как жила в единственном рваненьком платьишке, так и ушла в нем в могилу. Да и могила та безвестная вместе с кладбищем, вместе с поселком и пристанью под названием Кызыл жар канула на дно моря Бухтарминского, рукотворного и дурного, потому как поглотило оно много таких вот поселков, обездолив людей, обрубив им корни, лишив их отчих могил и домов. Не осталось у Мишеля на земле единственного и желанного аула, где мог бы он после долгой дороги привязать своего коня и приклонить усталую голову. Хотя бы раз в году калымщики разъезжались по родным селениям, чтобы подышать воздухом детства и у родного порога скинуть груз тревог и забот. Они возвращались, согретые теплом отчего дома, а он, Мишель, безвылазно сидел в тайге, потому что следы его детства навеки смыло бухтарминской волной, и порог его отчего дома погряз в песках зыбучих на дне морском. А лишившись корней, человек лишается детства, лишается прошлого, и память о прожитой жизни несет в себе уже не свет, а горькие смутные сумерки. Порой на поверхность рукотворного моря всплывают гробы и утварь, как скорбное напоминание о порушенном быте. Так и в душе Мишеля временами всплывали недобрые мгновения его прошлой жизни. Он рад бы их и приукрасить, высветить, подправить и, может, кое-что забыть, но – из песни слов не выкинешь...

Деревянный покосившийся домишко с сорока заплатами на крыше притулился поближе к обрыву и выглядел так, будто на его долю выпали все тяготы войны. Он был щеляст, половицы скрипели, а двери и ворота, стоило к ним притронуться, начинали причитать, стена как грешные души. Если к ним подходил кто-нибудь, Мишель, даже играя поодаль от дома, знал об этом по возгласам ворот и дверей. Мишель рос крепышом – ну, таким уродился. Он был приземист и коротконог, его с рождения прозвали Мешелом, рахитиком то есть. Какой-то насмешник переименовал прозвище и получилось это вот полуфранцузское – Мишель. Ну, да Бог с ним, жизнь долгая, в ней ко всему привыкаешь, даже к собственному имени, как бы оно ни звучало... А дом их был хоть и скрипуч, но приветлив, для всех открыт, даром что стоял в самый раз по дороге на элеватор, и все, кто зерно вез сюда или муку – отсюда, заглядывали к ним на огонек, чтобы согреться, если не чайком, то кипяточком хотя бы – воды не жалко. И не без того: кто муки хозяйке подбросит, кто зерна курам на прокорм. И людям хорошо, и мать Мишеля не в накладе, в те времена не в каждой семье был такой достаток, который сам, своим ходом и безо всяких усилий являлся в их дом. К тому же мать, Марзия, была женщиной тихой, покладистой, щедрой – последнего куса не утаит от гостя, и опять же – приветливой. А доброе слово и кошке приятно.

Когда он думает о детстве, он вспоминает старую баржу, она еще осенью сорок первого встала на прикол в одной из тихих заводей реки. Баржа, видать, отслужила свое, взрослые о ней забыли, и баржей завладели пацаны. О, эти их морские

сражения, когда две армады – одна с элеватора, другая с пристани – шли стеной на стенку, стараясь завладеть несокрушимой крепостью, какой в их глазах была баржа. Все игрища, все драки, перемирия и войны происходили здесь. Отсюда удочкой ловили все, что Бог пошлет: и шуку, и сома, и мелкоту речную. Баржа была морским бастионом и океанским кораблем. Для многих стала она судьбой: кому чуть больше повезло, те на военном флоте, кому чуть меньше – тот стал речным шкипером. А Мишелю та баржа служила и ночлегом, и надежным убежищем от нескончаемых побоев отчима. Сколько уж минуло лет с той удивительной поры, когда он, вместе с пацанами вопя: «Полундра! На абордаж!...», карабкался по разошедшемуся, пахнущему смолой и тиной борту ветхой баржи. Ах, если б только одна эта благословенная баржа осталась в его воспоминаниях о детстве...

– Эй, Мишель! Беги домой. Твоя мать мужа себе привела.

«Какого еще мужа?», – подумал он. Это слово, и то, что стояло за ним, после войны было позабыто, редко-редко в каком доме можно было обнаружить того, кто назывался – «муж». Мишель и предположить не мог, что не где-нибудь, а в их доме заведется этот самый «муж». Смотав удочки и волоча пяток окуньков, он явился домой. Еще там, у баржи, видя испуганные лица пацанов, он понял, что в их доме стряслось что-то неладное.

За столом сидел лохматый мужик с кожаной повязкой на глазу. Единственным нетрезвым глазом он грозно посмотрел на Мишеля. В пасть, обросшую щетиной, опрокинул стакан водки, смачно зажевал зеленым луком.

– Ага, выходит, ты и есть мужчина этого дома? – голос был сиплый и глухой, будто со дна кадушки: – Ай да молодец! Ай да молодец!.. Годен для строевой.

Единственный его глаз с первой же секунды алчно смотрел на рыбешек в руках Мишеля. Этот алчный мутный глаз до сих пор ему снится в кошмарах... Сожрав картошку в сковороде, он послал Мишеля за огоньком из очага – прикурить. Мишель смотрел, как тот дрожащими пальцами держит чадящую головешку, раскуривает сигарету, и маленькое сердце ныло от предчувствия беды. Уже тогда он почуял нутром, что из-за этого вонючего окурка он останется без матери, без дома, без прошлого, а значит и без будущего. Но, закурив, одноглазый пришел в благодушное состояние.

– Та-ак. А как мы учимся? – и положил свои тяжелые, как бревна руки, на плечи Мишеля.

– В учебе мы немного отстаем, – потупилась смущенно мать.

– Да? Так в чем же дело? Если учеба на ум не идет, с ней и валандаться нечего. Мужичок-то – боровичок. Я ж говорю: к труду и обороне годен.

Кулачище, которым он поощрительно похлопал Мишеля по плечу, потом не раз прикладывался к мальчишьему носу, заставляя давиться пасынка кровавыми соплями. Хотя он и не был пророком, но тут как в лужу смотрел: Мишель с тех пор с учебой не очень-то валандался. Самое трудное было то, что он лишал Мишеля материнской ласки, одноглазый встрял между матерью и сыном будто клин. Отдадим ему должное: он в первый же день как истый мужчина дров наколол для ужина. Впрочем, на дрова он пустил жерди, что подпирали ворота, а на растопку расколошматил угол дома: там бревна высохли до звона. Бедный деревянный дом, сумевший устоять во многих житейских невзгодах, дом, служивший приютом для многих и многих, теперь был обречен. Впрочем, он выстоял до конца, пока не был продан, противоборствуя топорю одноглазого.

- Выгони этого дядьку, – сказал Мишель, когда они остались с матерью вдвоем.
- Почему, солнышко мое?
- Он злой. Он сломал угол дома.
- Он собирается тебе отца заменить, – возразила она.

И в ту же ночь, вместо того чтобы выгнать одноглазого из дому, она вынесла постель Мишеля из спальни. Он лежал, съевшись под дырявым одеяльцем, постель была у окна, оно разбито, в него дул ветер. Ветер скулил и плакал. За дверью шумно дышал одноглазый отчим, он ухал и ахал, будто кошму топтал. И чтоб не слышать всего этого, Мишель перебрался в чулан, хотя и здесь ночевать ему доводилось редко. Чаще всего он в обнимку с ружьем сторожил зерно, склад, подменяя отчима на трудовом посту. Скулящий плач ветра из разбитого окна надорвал ему душу. Ветер тоже был сиротой...

- Бей гада!..
- Старшой!.. Слышь, старшой!..

Мишель поднял голову. Кто-то дрался во сне, а кому-то приспичило, он пинал железные двери, вызывая караульного. Дверь, грохоча, разбудив всех в бараке, открылась.

- Чего тебе? – сонно спросил караульный.

– Спешу на военный совет, – по голосу Мишель понял, что фельдмаршалу надо в сортир.

- Иди. Да не задерживайся...

Железные двери зевнули, захлопнувшись, прикусив металлической челюстью порог. Мишель почуял запах клопов. То ли тело его привыкло к ним и не чувствует укусов, то ли сами они его не трогают. Как видно, у него не очень-то сладкая кровь: ни комары, ни клопы его обычно не донимают. Но сам он запаха клопов не переносит... Внизу кто-то скрипел во сне зубами, будто камни пережевывал.

Форточка зарешеченного окна была в самый раз над его изголовьем. Теперь он понял, почему фельдмаршал домогался здесь лечь. Из форточки сочилась прохлада и ощущалось подобие свежего воздуха. Отсюда можно было видеть сквозь зарешеченное окно кусочек неба, и зеленая ветка сосны тянулась к окну. Рядом был парк, и если приподняться, то можно было увидеть щетинку сосен на склоне горы. Сейчас там мерцал огонёк. И не один, их несколько. Кто бы это мог быть? Он вспомнил: сейчас пора сенокоса, и владельцы скота выкашивают все, вплоть до ямок, впадин и оврагов. Ну да, днем некогда, косят ночами. Опять забредила сердце давнишняя его мечта: построить себе дом, пусть неказистый, пусть в безлюдье, но чтобы лошадь была и маленькое хозяйство. Даже не овцы, а несколько коз. Наверно, Жамиля управится с ними. И кобылу подоит – а как же, нужен кумыс. И, собственно, почему одну кобылу? Он заведет их несколько. И Жамиле поможет. Он делать все умеет: и косить, и корову доить. Это по холостацкому делу он кое-что забыл, но стоит захотеть, он вспомнит снова.

А отчим был типичный тунядец, дома его из-под палки ничего не заставишь сделать. С наступлением тепла он уходил гонять плоты, и зарабатывал неплохо, но ни копейки в дом не приносил. А как ледком затынет лужи, он возвращался – гол как сокол. Дескать, его обокрали. Во сне. Или наяву ограбили. Напали, избили и отняли деньги. Врал как сивый мерин. Потом и врать перестал. Обнаглел. Зимой он устраивался сторожем на элеватор, но с печи не слезил. Днем, забросив учебу, за него дежурил Мишель, а ночью – мать. Весь день на складе она веяла зерно,

к вечеру падала с ног от усталости. Но, заглянув домой, попив пустого чаю, шла на ночное дежурство – вместо своего одноглазого алкаша, который тем не менее смастерил двух девочек и мальчика в придачу. Естественно, рожала мать, но нянькаться с ними ей было некогда, этим уже занимался Мишель.

Деревянный дом на юру с обглоданными углами люди теперь стороной обходили: за постой одноглазый требовал водку. А как напьется, драку учинит. «Почему не прогонишь бродячего пса? – сетовали соседи. – От него же никакого толку. Только гавкает да кусается». «Так ведь дети, – отвечала мать. – Он им отец. Побойтесь Бога». Ну, одноглазый не боялся ни Бога, ни черта. У матери все до копейки отбирал. Его стыдили, стращали судом, грозились в ЛТП отправить.

– Я что – состою на учете? – поднимал он хвост. И исчезал надолго. Мишель так и не вышел ростом от побоев, но от побоев же он толстел, как барсук. С малых лет легли на него все заботы о целой семье. Какая там учеба? И кругозор – какой? Он с детства был задавлен голодом, заботами, нуждой.

И лишь пора сенокоса избавляла его от забот и побоев. У них была корова, единственная их кормилица. По весне, с первыми проталинами, когда из-под снега проклевывалась зябкая травка, буренка начинала поить их молочком, а с первым снегом кормила мясом своего теленка. Чтоб прокормить ее зимой, Мишель помогал косить сено в соседнем колхозе. Получал натуроплатой. То был желанный стожок сена, который в ноябре водружался на крышу сарая. В тринадцать лет он по-свойски держал в руках косу, а с топором научился работать и того раньше – лет в десять, и, видишь ты, по сию пору топор его кормит. А сенокос был для него как отдых. Он хоть на время избавлялся от суety домашней, от шума-гама, когда утихомиришь одного, другой орет, одного на горшок посадишь, другой в это время в штаны наложит. Конечно, сенокос – работенка серьезная: и косой намахаешься до седьмого пота, и с быками, что в телегу впряжены, тоже морока, и люди чужие вокруг, а все равно – лесное приволье, крепкий сон в шалаше да утренние росы, что смягчают цыпки на ногах, да земляника в разнотравье, а то и смородина – ешь до отвала, до оскомины на зубах. Ах, эти беззаботно-счастливые дни, когда запах свежескошенной травы переполняет легкие, пьянит, а ты лежишь на вершине стога, смотришь на звезды и невзначай засыпаешь, и тебе снятся добрые сны. И лишь у стариков бессонница, чуть свет уже слышны их скрипучие голоса: «Эй, молодежь! Хватит дрыхнуть. Раньше начнешь, раньше поспеешь». Но до чего же на зорьке хочется спать! А старики как бы подслушали твои мысли, у них и тут готов ответ: «Бездельник сколько не спит, все спать хочет». Рядом – печальные лица женщин, они тоже на ногах ни свет ни заря, зовут звоном посуды к огню. Нет, тут никто с тобой не нянькается, тут тебя могут и обругать, и дать нагоняй, но все это по сравнению с мордобоем любимого отчима звучит – ну вроде колыбельной. Во время сенокоса на какую бы работу его не ставили, он с готовностью брался за нее. Ночь ли, день ли, жара ли, дождик, а он как вспомнит про буренку-кормилицу, сам готов впрячься вместо быков в телегу.

Когда умерла мать, меньшому был всего лишь год. Одноглазый дозимовал ту злую зиму вместе с ними, а по весне, продав корову, исчез. И осталось их четверо без отца и без матери. С голоду они не померли. Рядом было заготзерно, где он, несмотря на свой подростковый возраст, работал, где можно было раздобыть чуток зерна и отрубей. Были хлебные карточки, была зарплата, совсем, правда, крохот-

ная, но все же. Целыми днями он крутил ручку веялки, стараясь не смотреть на те два кусочка хлеба, что доставались по карточкам. Дома ждали голодные дети. Вечером он приходил с работы с ввалившимися потемневшими глазами, чтоб накормить малышей. Однажды по дороге с работы он упал в обморок. Соседи принесли его домой. Левую руку он согнул в локте и намертво прижал к себе. Думали, судорогой свело, разжать не сумели. Оказалось, он зажал под мышкой краюху хлеба, он должен был ее до дому донести. Он и от меньших, неразумных прятал порой хлеб про запас. Но они ведь как мыши перероют весь дом и найдут. Так он его прятал в скворечнике, на верхушке шеста. И куда бы ни шел он, его преследовали голодные глаза сестер и брата. О, как он обостренно чувствовал их голод! И до чего же ему самому всегда и всюду хотелось есть...

А одноглазый через год опять вернулся и под предлогом, что заберет детей в леспромхоз, продал дом... Потом оказалось, что не одни они такие счастливые. У одноглазого в разных уголках Алтая было несколько жен, у каждой – по пять-шесть детей. И он исправно из всех них тянул соки, то есть гостил хотя бы один раз в году по два-три месяца. Его судили, а ему было плевать на суд: «Власть у нас какая: Советская. Помереть она не даст, вырастит всех – ей нужны рабочие руки. А мне скажите спасибо. Во-первых, я вдов утешал. А во-вторых, народонаселение увеличил».

Власть и вправду помереть не дала. По детдомам раскидала. Девчонки выросли, повыходили замуж, брат служит в армии. И никому из них нет никакого дела до Мишеля, который заменил им когда-то отца, который был им матерью и старшим братом. Вот уж и вправду, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит...

Сначала лягушки заорали в болотце где-то за райцентром. Потом запели птицы. Сквозь зарешеченный квадратик форточки были видны далекие горы. Они дремали в утренней мгле. А петухи райцентра явно оплошали, проснулись позже собак и подняли истошный крик. Старухи оказались всех шустрее. Они, видать, и поднялись чуть свет, и коровенок подоили, и внукам вытерли носы. Теперь они, оседланные этими самыми внуками, тряся их за спиной, гнали в табун своих буренок с обшарпанными и засратыми боками. Бог ты мой, опять мы старух оседлали, думал Мишель, опять они, двужильные, тянут ляжку жизни – за мужиков, не вернувшихся с фронта, да и за нас, не очень-то привыкших к хомуту.

Мишель пытался вспомнить лицо своей матери и с ужасом понял, что не может этого сделать. Уже годы и годы мать даже не снилась ему. А может быть, она по-своему счастлива, что до срока покинула юдоль земную. Доживи она до старости, кто из детей бесприютных сумел бы ее приютить?.. Он сокрушенно думал о самом себе. Сорок лет, а у него – ни кола, ни двора. И сидит он в тюрьме, глядя на свет божий сквозь решетку. Не-ет, так дело дальше не пойдет, дайте мне только выйти отсюда, я сверну в бараний рог свою нескладную судьбу, успею наверстать упущенное, чтобы жить по-людски... Вот так в непривычных раздумьях о жизни Мишель встречал этот рассвет. В висках ломило, голова была тяжелой от непривычных мыслей и бессонной ночи.

С лязгом открылись железные двери:

– Эй, Кобланды! На выход. К тебе пришли.

Слава Богу, нашлись на белом свете люди, которым нужен он, Мишель.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1

Чем хорошо на Алтае летом – нет мух. На равнине Кузгынды – раздолье: ни дерева, ни кустика, лишь зеленый ковер невысокой травы, лошадь скачет при-вольно как ветер, еще мгновение – и она взмахнет на небо, погружая копыта в невесомую прозрачную лазурь. А что? Равнина как-никак на высоте в две ты-сячи метров, почти что в поднебесье. И кажется порой, равнина та, как малая планета, кружится вокруг своей оси. И кружит людей, опьяненных простором и близостью неба, кружит всех, от мала до велика, вовлекая в орбиту праздника, в орбиту веселья и радости... Белопенный кумыс, девичий смех. Пылкие взгляды парней. Мальчишки верхом на скакунах, готовых мчаться наперегонки с самим ветром, а ветер колышет перья филина, они для форсу и в хвост присобачены коням. А рядом на разгоряченных иноходцах – молодки и девушки, чтоб было перед кем гарцевать – красоваться всадникам-джигитам.

Шерубай держал под уздцы трех вороных, распаленных погоней, они только что пришли один за другим, хвост в хвост. Объявили о скачках иноходцев, старик оставил вороных, ринулся в гущу новых событий. Рыжий кастрат со звездочкой, помесь местной лошадки с дончаком, рассек грудью густую толпу и вмиг оказался на старте. Повелителем празднества был Сигат. Он и хозяин, он и судья. На плечах Сигата был белый шелковый чапан, под Сигатом плясал белый конь, и сам Сигат был величав как бог. Он поднял кнут. На старте выстроились десять лошадей. Одиннадцатой вышла к ним на белогривом игреневом Сян. Двенадцатым был егерь на своем черногривом савраске. Его появление вызвало замешательство стариков: им бы горло драть да права качать:

– Где комиссия? Куда она смотрит? Это же не иноходец, это – рысак!

– Ну и что? – с не меньшим пылом возразил один седовласый горлопан дру-гому. – Мы знаем его еще жеребенком. Это помесь редчайших кровей...

– А если помесь, то почему он здесь? – начал драть глотку третий старик. – У нас на старте должны быть чистокровные лошади.

Сигат неприязненно глянул на стариков, что-то сказал, но его не расслышали. Кто-то из культмассовиков – шестерок с готовностью подал Сигату мегафон, и тот во всеуслышание отчитал бестолковых законников:

– И эти люди называются казахами! Протрите глаза: где вы тут видите чисто-кровную лошадь? Где? Укажите хотя бы одну, – и Сигат назвал поименно вместе с лошадьми на старте их маразматичных хозяев-стариков, каждый из которых мнил себя директором конезавода, а тут и рта не посмел открыть.

И лишь один старик то ли вконец оглох, то ли впал в детство, продолжая на-стаивать:

– У меня... у меня чистокровный скакун!

– Какой там скакун?.. Чистокровная кляча, – проворчал Сигат, но слова, уси-ленные мегафоном, пригвоздили старика к месту.

– Сам ты кляча, – буркнул он, но бороденку вскинул вверх с вызовом. – Не всем же быть директорами. Да и от директора может родиться погонщик мулов.

Шерубай, возвышавшийся на своем громадном со звездочкой кастрате, прикрикнул на стариков:

– А ну – посторонись! Путаются тут под ногами... Вам про ослов рассуждать бы, а вы о конях спор затеяли.

Старики приумолкли.

– Пусть лошади пройдут один круг для начала, – сказал Сигат. – Чтоб ясно стало, сколько тут коней, а сколько кляч.

И едва лишь он, опустив кнут, подал знак, две лошади, белогривый игренеый и черногривый мухортый, так рванули с места в карьер, что с глаз исчезли, а остальные скакуны и впрямь смотрелись клячами, которым доступен разве что пеший аллюр. Обе лошади, сделав круг, вернулись к старту.

– Итак, на старте лишь два коня, – подвел предварительные итоги Сигат, – значит, приз будет один. Победителю.

У Шерубая сердце екнуло от нехорошего предчувствия. Не лошадь было жаль ему, а Сян: ее соперник был для Шерубая сам темной лошадкой. Старик и не предполагал, что этот дервиш, опекавший жучков и паучков тайги, был знатоком лошадей. По жеребчику видно – добрый у него хозяин. Дай Бог ей сил и мужества, подумал он о дочери, и мысленно сотворил молитву. Но дочитать ее не успел до конца, потому что красный флажок уже опустился, кони понеслись, и кровь ударила в голову старику.

– Вот пройдоха, а? Вот пройдоха! – невольно шептал он, впившись взглядом в алую рубаху егеря, она струилась по ветру и полыхала маком, а сам он слился с холкой лошади и был одно целое с ней. – Нет, ну глянь на него: рубаху красную надел!..

Он бранил даже одежду соперника, но не мог скрыть своего восхищения им. Какая посадка, какая удаля! Лошадь повинуется не поводьям всадника, а его сердцебиению. И лошадь под ним – не лошадь, а птица. А пустобрехи-крикуны, эти старые сморчки, сидевшие на клячах, видя тот неистовый бег, аж головы втянули в плечи. От одного вида эдакой скачки их, чего доброго, понос прохватит.

Сигат, как гранату, держал в руках секундомер. И когда черногривый завершил первый круг, Сигат крикнул:

– Пятьдесят километров в час!

Не лошадь, а дьявол!.. Ну погоди, кривоносый наглец, не будь я Шерубаем, если на будущий год твоему жеребцу не отесу яйца косяком молодых кобылиц. А у белогривого игренки ноги пошли врасстопырку, и было видно, как он тяжело хрипит. Теперь в мыслях Шер-ата было лишь одно: как выйти из состязания, что бы такое придумать? Когда дочь на мгновение поравнялась с ним, он крикнул: «Бей кнутом! Сломай иноходь!..» Он крикнул слишком громко. Какой позор! Что люди подумают? Он с опаской покосился по сторонам, но разгоряченной толпе не было до него никакого дела, все смотрели на алую рубаху егеря, она полыхала впереди как флаг. И еще все смотрели, как бежит – нет, летит! – черногривый мухортый, словно бы не касаясь копытами земли. Ах, наглец! Ах, пройдоха!.. Сян уже на первом круге безнадежно отстала. Бедняжка, даже простых уловок не знает, как другие, что постарше и опытней...

Но уже в середине второго круга началось непонятное. Умчавшись от глаз людских на предельно далекое расстояние, черногривый резко снизил скорость. Толпа загудела. Что он делает? Да он специально сбивает бег лошади! Черногри-

вый – и это ясно было всем – мог бы еще запросто лететь с ветром наперегонки, распластав хвост, будто крыло птицы, он только-только взял нужный темп, набрал скорость. Красная рубаха трепетала как флаг, и даже издали было видно, какие усилия прилагает всадник, чтобы сдержать бег коня. Белогривый, враз поблекший, загнанный, утративший и прыть свою, и удаль, догнал-таки соперника. «Не конь – ишак!» – презрительно подумал старик о своем же собственном скакуне. Ну, ишак он или не ишак, а до старта шел ровень с черногривым. Черногривый не слушался наездника в красной рубахе, рвал воздух и уже после старта мчал егеря дальше и дальше по кругу...

Комиссия была в затруднении: кому вручить приз? Предпочтение было все же отдано черногривому, на что Шерубай никак не отреагировал. Когда легонький, почти невесомый, как перекасти-поле, егерь вышел в центр круга, ведя в поводу распаленного бегом коня, с трудом его сдерживая, старик по дыханию скакуна понял, что у того до сих пор из ноздрей пышет пламя. Шерубай чуть было не сорвался с места, чтоб подбежать к савраске, погладить, расцеловать горячую и потную морду лошади. Боялся он лишь одного: а ну черногривый кастратом окажется? Но у того, слава Богу, все было на месте... А Сян чуть не плакала. На отца обижена, что посадил ее не на лошадь, а на ишака. Что делать? Умей побеждать, умей и переносить поражения.

Старик развернул коня, чтобы уйти прочь с глаз людских и в одиночестве осилить неудачу, но егерь, с призовым ковром наперевес, ухватился за его поводья:

- Аксакал! Прошу прощения – ковер я должен вручить вам.
- Что он мелет? – опять раскудахтались старики. – В своем ли уме?
- У меня нет претензий к уважаемым судьям, и все-таки... по-моему, они ошиблись, – продолжал стоять на своем егерь. – Первым был белогривый.
- Неправда! – шумела толпа.
- Правда. Черногривый отстал от него. На пол-уха.
- Нашим глазам свидетели не нужны, – ударились в амбицию старики.
- Простите, – осадил их егерь. – Кому виднее: мне, сидевшему в седле, или вам, стоявшим в сторонке? Приз ваш, аксакал!..
- Н-ну, приз выиграл не я, а... иноходец, – уклончиво сказал старик, но сердце дрогнуло. Столь тонкой деликатности никак не ожидал он от лошадника-егеря.
- Шер-ага! Достоинства лошади зависят от мастерства ее хозяина. Мне разорвать ковер пополам?
- Зачем?
- Чтоб одну половину вручить скакуну, другую – ее хозяину.

Старик и вовсе размяк. Улыбки он уже сдержать не мог. А егерь накинул ковер на белогривого, вконец сокрушив Шерубая и обескуражив незадачливых стариков, по общему мнению которых Асеке был, конечно же, круглый дурак...

Торжество продолжалось. Толпу, возбужденную только что виденными скачками, борьба джигитов не увлекала. Правда, от души посмеялись над бабами, что надели мешки на ноги и прыгали наперегонки. А потом потянулись к юртам, на запах кумыса и бешбармака. Каждое хозяйство раскинуло свои скромные юрты невдалеке друг от друга, но как бы отдельными аулами. Угощение обещало быть не очень обильным, поскольку не слишком-то богатыми были хозяйства. Разве что выделялись три белоснежные, новые юрты лесхоза – тоже чуть в стороне, подальше от пыли и топота, и люди нос держали по ветру, все больше вились вокруг этих юрт.

Здесь же раскорячился вертолет. На нем был укреплен репродуктор, который оглушительно гремел тожественной песней: знаменитые братья-певцы дуэтом славили на всю округу партию и комсомол. Поперхнувшись песней, репродуктор объявил, что слет животноводов завершится кокпаром. В связи с чем надо еще шире развернуть соцсоревнование, добиться ударных темпов в труде и достичь еще более высоких показателей... Но вся эта говорильня была лишь гарниром к желанному слову «кокпар». Едва оно прозвучало, и Асеке и его конь навестили уши. Впрочем, не только они пришли в боевую готовность. Большая толпа на лошадях в нетерпении поглядывала в сторону вертолета: оттуда прозвучало слово «кокпар» – значит, оттуда начнется и погоня.

Шер-ага вручил поводья трех вороных трем своим ястребкам-сыновьям, ука-зывая им на три белых юрты:

– Туда идите. Там ваша мамочка. Пока мы тут веселимся, как бы какой удалой озорник не выкрал ее у нас, – он снял с тороки красный корджун в кистях и узорах, подал его старшему сыну. Корджун был с подарками. – А то среди праздника осиротеет неровен час, выкрадут у нас токал, нашу бусинку...

Старик изволил шутить. Как бы не так, подумал Асхат, ты сам, вопреки седине, обставишь любого удальца. Шерубай был жилист и крепок, как старый смоли-стый листвяк. Ну да, листвяк: долбанешь по нему топором, топор отскакивает, будто не древесина это, а камень. Казалось, годы добавляют ему лишь седины, не убавляя силы. Лишь зрачки глаз сковал бесцветный белый ободок, придав взгляду Шерубая отчужденность и холодок, какой бывает в заоблачных высях.

Старик, как видно, не случайно освободил тороку от корджуна. Он подтянул подпруги на своем кастрате с отметиной и сам словно бы подтянулся. Понятно, готовится участвовать в кокпаре.

Асхат подъехал к нему, спросил:

– Шер-ага, у вас как проводят кокпар? Есть особые правила?

Шерубай вскинул бровь, посмотрел на Асхата, как бы прицениваясь. И быстро погладил по бархатным ноздрям черногривого, тот сердито смотрел на кастрата, прят ушами.

– Он тебе не соперник, – процедил сквозь зубы Шерубай и повернулся к Асе-ке. – А ты откуда родом, дорогой?

– С Каратау.

– Святые места!.. Не бывал там и теперь уж, наверное, не побываю.

– Какие ваши годы, Шер-ага! Сыновья один к одному подрастают, дочь-невеста на выданье. Вам по силам любая дорога.

– Ну, дело не во мне, хватило б у коня силенок... Кстати, стараясь держать коня в форме, не пичкай его одним овсом. Видишь, помет какой твердый? Он же царапает, когда выходит.

Старик все успел: и подтянуть подпруги на своем кастрате, и глазом воровским ощупать черногривого – от ноздрей до хвоста, даже твердость помета проверить, а заодно и светскую беседу поддержать:

– Хочешь в кокпаре участвовать?

– А мне терять нечего. Если б кто-нибудь вывел на меня козла...

– Опять полагаешься на черногривого?.. Смотри не прогадай. Здесь тебе не Каратау, здесь козла тягают, кто и как горазд. Пять-шесть километров длится драчка. Потом тот, чья лошадь пошустрей, привозит его и бросает среди этих

вот шалашей... В общем-то это игра, но она... вроде члена у евнуха, – последние слова старик сказал по-русски, давая понять, что и в русском силен. И сузил глаза, глядя вдаль. – Если хочешь, жди меня во-он на том холме.

И отъехал.

«Тот холм» был высоткой в двух-трех километрах, и Асеке пришпорил коня, пошел вскачь...

...и закружилась голая и плоская равнина, завертелась как веретено, как смерч как вихрь летучий, что раскручивал вокруг оси своей всадников, и твердый дерн тербил нетерпеливые копыта. Словно захваченный тем стремительным вихрем, с грохотом взмыл над землей вертолет, а кокпарщики с воплями, гиканьем неслись вслед одинокому всаднику, что вдруг оторвался от них, породив новый взрыв воплей, задора и ярости. Асеке, на скаку оценив ситуацию, решил, что разгоряченная толпа не зря вопит и беснуется вслед тому всаднику, и, оторвавшись ото всех, стороной помчал в условленное место...

...держа в руках кнут, свободно опутив поводья, прижав коленом и всем, что выше колена, холощенного козла, летел старик, выпучив глаза и разрывая токи вихря лицом своим, взмыленной грудью коня. Он был уже почти на вершине холма, он был уже почти у цели, когда кастрат с отметиной на лбу вдруг с лёту грохнулся, козел выскользнул и покатился как мяч, и сам старик тоже покатился как мяч...

...вылетевший прямо навстречу Асеке лишь руку протянул и подхватил козла...

...толпа наездников, налетевшая как божья кара, не видела ни старика, ни упавшую лошадь. Каким-то чудом их не растоптали. Лавина копыт прогрохотала над ними и вмиг умчалась прочь...

...оглушенный падением старик какое-то время слушал удалявшийся грохот. Потом ощупал себя. Вроде цел. Встал. Прихрамывая, подошел к лежащему кастрату со звездочкой на лбу. И увидел: кастрат собрался подышать. Передней ногой он угодил в старый волчий капкан, из распоротого паха вываливались кишки. Старик снял седло. Когда снимал подпруги, узду и поводья, он встретился взглядом с глазами лошади. Из них текли слезы и кровь. Старик молча снял с пояса короткий желтый нож. «Вот и все», – сказал он коню. И про себя отметил: седьмая по счету. Ну да, в семьдесят лет это будет его седьмая лошадь, которую он зарежет собственными руками... «А я остался невредим. Значит, не кончились еще мои муки на белом свете...»

Его окликнули. Он даже не обернулся. По голосу узнал – Бескемпир. «Ну, этот сочинит частушку на моих похоронах... А толпа промчалась мимо, не заметив меня...» В груди похолодело. Казалось, там, где сердце, лежит кусок льда. Бескемпир протягивал ему уздечку своей лошади. Но на пузатую клячу лесхоза, бесхвостую, с отрезанной гривой, Шерубай сесть не мог. Толпа, вопя и беснуясь от того, что заполучить козла она не смогла и не сможет, возвращалась обратно. Старик подал свой желтый нож Бескемпиру.

– Раздай им. Каждому – кусок. Скажи, что Бог послал.

Он взвалил на себя седло, подхватил уздечку и тяжело пошел в сторону юрт.

Жизнь прожить – не поле перейти, в жизни все бывает: счастье и горе, муки и радости. А он не жаловался на судьбу: что на роду написано, тому и быть. Приходили минуты счастья, он радовался им, а наступали дни лишений, он переносил

их без ропота. И сохранил живую душу, и никогда не чувствовал себя обойденным или униженным. Унижение – оно сродни зависти и воровству, когда крадешь чужую славу или присваиваешь счастье, дарованное не тебе – другому. Говорят, счастье не конь, его не охомутаешь. А если охомутаешь, то зачем оно тебе, подневольное счастье? Оно как пташка: захотело и само на плечо к тебе село. А случилось оно в жизни Шерубая с появлением его второй жены Асем. Судьба слепа – коли одаривает радостью, так без меры: четырех сыновей родила ему токал.

Старик был счастлив. Даже сейчас, в эту горькую минуту, когда потерял верного друга – коня...

А вокруг трех белых юрт на холме гомон и суета. Тренькала домбра, пиликала гармошка. Молодежь зубоскалила чуть поодаль, а молодки и бабы хлопотали у огромных казанов. Асем, увидев старика, бросила поварешку и на рысях кинулась к нему навстречу. Сколько бы раз на дню он не садился на коня или не спешил, она была тут как тут, чтоб подхватить поводья, а главное – чтобы помочь ему, посадить в седло или, наоборот, ссадить. И она обмерла, увидев его пешим, увидев насупленные брови повелителя, будто не на празднике он был, а на похоронах.

– Что случилось? Где лошадь?.. А нога – что с ней?..

– Постели кошму! – приказал Шерубай и оттолкнул жену – она бросилась к нему, чтобы оперевшись о нее, легче идти ему было. – Где дети? Где дочь твоя?

Ну, Асем была тоже не промах, она бы одернула старика: чего это он, не успев притащиться, решил устроить смотр своих отпрысков? Но, столкнувшись взглядом с его взбешенными зелеными глазами, она без звука метнулась в одну из юрт, приволокла сразу три ковра, бросив их на траву.

– Я сказал: кошму расстели. Не ясно, да? Кошму! – старик не сбавлял обороты. – Чего растерялась? Не буду я тебя раздевать, не буду!..

– Ишь, распетушился, – буркнула Асем. – Ох, доконает тебя твой характер, старик. Доконает...

Она постелила кошму и ухватилась за сапог Шерубая, потянула к себе, чтобы снять.

– Постой! – старик сел, стараясь не очень-то сгибаться, и поднял ногу, опять же ее не сгибая. – Неси колотушку.

– Чего?

– Колотушку.

– А где я возьму ее? Она что, у меня на шее болтается?..

– Ну дубинку найди. Жердь! Бревно!.. Опять непонятно, да?

Он так и сидел, неестественно вытянув ногу, не замечая сыновей, которые вышли из юрты и, подталкивая друг друга, жались в сторонке, не решаясь приблизиться к отцу. Токал принесла и сунула ему в сердцах подпорку, мол, подавись ты своей колотушкой, а он расщепил ее пополам и, закутав кошмой правую ногу с выбитой коленной чашечкой, ударил сам себя по щиколотке. Лицо побелело, на лбу испарина, глаза зажмурены, и подбородок судорожно задран вверх. Боль нахлынула, надо ее одолеть, пересилить. Но именно в этот момент – и не позже! – пронзительный писклявый голос, будто шило, кольнул старика.

– Убрать юрты. Срочно велено юрты убрать! – распорядился невесть откуда прискакавший парень.

Был он плюгавым, лицо с кулачок, нос пипеткой, но – при усах, башка патлатая, глаза как пуговики. И лошадь под ним тоже махонькая, как собачонка, разве

что не гавкает. А голос пронзительный, как циркулярная пила на холостом ходу. На что уж нестерпимой была боль, но Шерубай не мог не засмеяться. Неужто такого вот девушки любят?!

– Убрать юрты? – Сигат насмешливо смотрел на гонца. – И кто же это повелел?

Ответ Сигату был не нужен. Он передал Асем домбру, струны которой только что пощипывал.

Но гонец, задрав носопырку кверху и важничая, будто доставил веление самого Аллаха, проверещал:

– Кто велел? Руководство велело. И чтобы срочно – вниз.

– Передай своему руководству: нам оно не указ. Юрты... во всяком случае, юрты моего аула сегодня останутся на месте. Так и доложи начальству. Да и побыстрее. Мы пригласили бы тебя за дастархан, но ты же торопишься. Так что поезжай, любезный, не солоно хлебавши.

Парня подняли на смех, с готовностью подняли, дружно. И в той готовности просматривалось холуйское желание угодить хозяину, взявшему к тому же своих подданных под защиту. Ну и потом толпа всегда гораздо поклевать бессильного – тем более если он выскочка. А патлатый гонец с вихрем – угод, да и только! – огрел толстенным кнутом отвислое брюхо своей лошаденки, да так огрел, что у той с перепугу газы стали отходить, и с теми непристойными звуками ускакал под гогот и улюлюканье. «Ну да, против овец ты молодец! – усмехнулся Шерубай, глядя на Сигата. – На ужа наступил и загордился, будто гадюку убил».

Солнце клонилось за полдень, и хоть до вечера – эвон сколько времени! – а юрты, что победней да погрязней, стали одна за другой убираться. Как говорят, подобру-поздорову. Начальство – оно и есть начальство, ему лучше не перечить, а то, неровен час, в немилость попадешь. Да и рядом с юртой Сигата стала редеть толпа, кое-кто под шумок уходил, от греха подальше. И тогда Сигат тоже поднялся с места. Держать речь.

– Сородичи! – сказал он так, чтобы слышали все. – Мы не так уж богаты. Все-то наше богатство – наши руки и наша работа, которой невпроворот. Раз в год поблажку себе даем, выезжаем из душных аулов проветриться, друг на друга посмотреть, послушать друг друга. И что же, по окрику олуха какого-то мы должны разбежаться?.. В трех казанах вашей сестры Саркыт уже готово угощение, и в трех саба¹ Асем-женгей томится кумыс, его хватит на целые сутки. Что я хочу сказать? Вина и водки в магазине – хоть упейся, никто вам дорогу туда не преграждал. Но... с завтрашнего дня – чтоб ни одной пьяной рожи. А сегодня – гуляйте, пейте, пойте. Веселитесь. Гляньте только: какие у нас борцы! А наездники?! Вот и кокпар нашел дорогу в наш аул...

При слове «кокпар» Асхат соскочил со своего жеребца и, хоть еле держался на ногах от усталости, постарался легко, с бравадой бросить белого холощенного козла к ногам Шерубая. Ну, это уж слишком, подумал старик, и выразительно повел подбородком в сторону директора лесхоза, что стоял в центре толпы.

– Нет, – не согласился Асеке. – Без вас я бы не выиграл. Так что... это ваша заслуга.

– Что-то заслуг у меня многовато сегодня, – проворчал Шерубай.

– А у меня и вовсе никаких, – сказал Асеке. – Я всего лишь поднял и приволок то, что вы мне оставили. Ну, жеребца пришпорил, на то и жеребец.

¹ Саба – большой бурдюк.

И, потянув коня за узду, он все так же быстрым, легким шагом вышел из обступившей их толпы и, отойдя подальше от гомона, топота, дыма туда, где простор вольготнее, а ветерок свежее, привязал своего черногривого. Ну и строптивец же ты, подумал Шерубай, глядя вслед Асеке. Легко гарцуешь, да тяжело ступаешь. И живется тебе, видать, непросто. Трудно быть не в ладу с людьми, а того труднее – быть не в ладу с самим собой. И да хранит тебя Аллах!.. Он хотел было встать, но, опершись рукою о ковры, что бросила ему под бок Асем, раздумал. Пришла непрощенная мысль о счастье, о том, что Бог так щедро одарил его на закате дней, ниспослав ему и сыновей, и дочь, а главное – токал. Он поманил ее к себе.

– Надо как-то уважить людей, – сказал он, внимательно глядя ей в глаза и как бы спрашивая ее согласия.

– Ну так уважь, – улыбнулась она, дескать, ты же сам знаешь, как это сделать.

– Ладно. Тогда подними кошмы средней юрты да подбрось помягче подстилку: эта нога не даст сегодня покоя. И я хоть вприглядку буду участвовать в празднике.

То ли и впрямь разболелась нога, то ли хотелось ему, чтоб все увидели, как много значит для него Асем, Шерубай, умевший прятать ото всех и болезнь и усталость, медленно, с трудом превеликим встал, тяжело опираясь на плечо жены и чуть ли на нем не повиснув. Вокруг примолкли: табунщик был горазд на непредсказуемые поступки. Уверенный в собственной скромности, он рта не раскрывал, пока все, кто ни есть кругом, не затаят дыхание, ожидая, чего он скажет. Уже одно то, что он встал вопреки той немощи, которая сразила его в разгар праздника, было знаком особого уважения к людям.

– Саркыт, где ты? – спросил он тихо, но в наступившей тишине его услышали все, а он, задрвав подбородок, напряженно замер, как бы ожидая услышать в ответ глас с неба.

Подобно гнедой, что пасется среди годовалых телят, и не только пасется, но и пасет молодняк, белолица старуха возвышалась среди баб у казана. Услыхав свое имя, она встрепенулась. Привычка верховодить была второй ее натурой, причем верховодить во всем, а не только в работе: она как-то вмиг выдвигалась вперед и в те ответственные моменты, когда начинали раздавать награды, грамоты, подарки. Она и тут являла собой сиюминутную готовность к торжествам: шуруя кочергой, не забыла накинуть на плечи белую шелковую шаль, какой не было ни у кого другого.

– Никак сватать собрался? – она не чуралась и шутки.

– А что – и посватать могу. Я такой.

– Какой? Да ты с козой не справился, сломал себе ногу. А может, не только ногу. Тоже мне, жених!..

Ну, это уж был перебор, и Асем – она сворачивала ковер, придавая ему подарочный вид – швырнула его оземь, подбоченилась и отбрила нахалку:

Эта баба обнаглела –
В мой полезла огород:
Говорит, не так, как надо,
В огороде хрен растет.
Чем же я тебя задела?
Или – кто тебя задел?..
И какое тебе дело
До моих хреновых дел?

Все онемели. Но Асем для верности, чтоб уж напрочь сразить соперницу, вбила последний гвоздь:

Мой хрен, как хочу,
Так его и ворочу!..

Вот брякнула так брякнула! Кто-то заржал, кто-то вскочил, ударил по струнам домбры: мол, давай-давай, жми на всю железку.

Саркыт глаза выпучила:

– Белены объелась ты, что ли? Чем гордишься? Тем, что у тебя мужик есть?

Так и мы бывали замужем...

Шерубай толкнул локтем жену, процедил чуть слышно: «Давай задний ход. Найди способ выпутаться!..» Слово мужа – закон, а то ни за что не уступила бы.

Ладно, так и быть, пощадим чувства вдовы:

Ты была главой аула не стареющей,
Печью доброй, всех надежно греющей...
Не сердись, коли не так я что сказала,
Опьяневшая от взглядов аксакала.

– О-о, женеше, теперь ясно, кто есть кто, – парень, игравший на домбре, расплылся в сладчайшей улыбке. – Если бы не вы, наш Шер-ага пас бы не лошадей, а овец.

Саркыт, разогнавшаяся было с шутками-прибаутками и напоровшаяся на скандал, была слегка утешена. Конечно, от слов Асем на сердце у нее не потеплело, но ковер, главный приз состязаний, душу слегка отогрел. Люди громко восторгались и Саркыт, и Шерубаем, и меткой на язык Асем, а старик вновь заставил всех умолкнуть.

– Бескемпир, где ты? – воззвал он снова.

Люди приготовились слушать. И он в самом деле произнес целую речь.

– До тридцати лет твой зад, Бескемпир, мозолил хребтину казенной куцехвостой клячи. Нет-нет, я не хочу тебя унижить, я говорю просто все, как есть. К тому же я в долгу перед тобой. И перед твоей покойной матерью, – Шерубай перевел дыхание, глядя отчего-то не на Бескемпир, а на Сигата, который сидел, понуриив голову. – Отныне знайте все: Бескемпир – единственный сын моей единственной сестры. Я не смог проводить ее в последний путь. Меня рядом не было и в тот день, когда единственный мой племянник появился на белый свет. Тут виноватых нет, такое было время: каждый ястребок, каждая пташка малая определяли сами свой лоскут неба. Мы сторонились друг друга и скрывали наших общих предков... Я не хочу тебе навязывать свое родство, да и сам, слава Богу, не страдаю от одиночества. Но... положенных по обычаю сорок козлов я готов вручить тебе, племянник. Хотя... нынче не то что козлы – табун стригунков едва ли кого может обрадовать. И все же: этот вороной – моя собственная лошадь и, если уж на то пошло, мое родовое наследство. Владей вороным, и владей этим призом.

Бог ты мой, Бескемпиру и во сне присниться не могло такое, хоть засыпай он десять раз за ночь. Он не один на белом свете, и сиротство его не столь безнадежно. К горлу поступил комок и навернулись слезы, но он сумел взять себя в руки. Сколько он помнит себя, никто не сказал ему, что он его родственник. Он что-то знал понаслышке от Сигата, но тот к нему не проявлял интереса, а сам

Бескемпир ни разу не подошел к порогу дома своего нагаши, где даже в лютый мороз им с матерью не дали приюта. А семья старика была ему всегда желанной. И все-таки... и все-таки... Для сердца, замерзшего в ту далекую январскую стужу да так и не отогревшегося во всю последующую жизнь, в словах старика слышалось что-то чужое, как будто говорил он по заказу, специально для услады этой праздной толпы, которая одним днем веселья нагуливает жир на много месяцев вперед, чтобы вновь зарыться в навоз безрадостных будней. В какой-то миг и Шерубай, и его жена с детьми вдруг стали удаляться, будто он смотрел на них в перевернутый бинокль. Но было там одно лицо, оно удаляться никак не хотело. Во все глаза смотрел он на Сян, она вела в поводу вороного коня. Бескемпир готов был отдать все на свете лишь за то, чтобы Сян была рядом с ним. Став дорогой, единственной и близкой, она опять оказалась непоправимо чужой. Только теперь Бескемпир понял, что старик, облагодетельствовав его своим родством, как топором отрубил возможность счастья... Он вдруг ослабел, едва не потерял сознание. Он даже потерял его, наверное, на долю секунды, и снова очнулся от прикосновения мягких девичьих рук. Она передала ему поводья, пальцы ее на мгновение вошли в его ладони, он задержал бы их навеки и не отпустил, но они уходили из рук его – и уходили навсегда...

Вся эта шумиха и гвалт толпы вдруг стихли, он сидел, будто его лишили и слуха, и зрения. Как мелкий лавочник, мечтавший о богатстве, но внезапно ограбленный среди бела дня в толпе базарной. Он сидел съезжившись, и ему казалось, что за день он постарел на тридцать лет. Пришла неодолимая усталость, которую не знают молодые, потому что она удел стариков... Сколько же веков прошло с тех пор, как я появился на земле? Как давно это было... Уже двадцать пять лет прошло с тех пор, как он остался один, без матери, почему они говорят лишь о матери и ни слова – об отце? Лет двадцать про него молчали, даже память о нем была под запретом. Потом вдруг объявили, облегченно вздохнув: «Отец твой был хорошим человеком. Враг народа? Нет, он не был враг – врагами были те, что его погубили». И все. И снова имя отца кануло в забвение. А что осталось в сознании людей? Сиротство Бескемпирова. Оно как горб, от него не избавишься, с ним вместе в могилу сойдешь... А теперь, когда сам он стал много старше своего отца, вдруг ему сообщают, что он является племянником. Кому? Неизвестно. Вот этим чужим людям. Казалось, что и это уже было в его жизни, ведь он живет на земле так давно! Говорят, ему тридцать лет. Сейчас он в этом не уверен. Нет-нет, много больше. У него есть друзья-приятели, сказать, что они ловкачи, прохиндеи – ну зачем же их так обижать? Назвать их умниками, мудрецами – слишком много чести. А между тем они и ловкачи, и умники: раз в пять лет теряют паспорт, получают новый и молодеют на пять лет. Зачем? А умолчим для ясности. Так надо. Все они сверстники, одноклассники, но одному пошел уж четвертый десяток, другой никак не может дотянуть до тридцати, а третий увяз на рубеже двадцатипятилетия. «С какого же ты года, старый пес? А пес его знает! Со времен незапамятных». А и вправду: все это было в год собаки. Аллахом проклятый собачий год!..

И все же хотел бы я знать: как мог Сигат все эти годы ни словом, ни жестом не выказать родственных чувств? Неужто боится, что я использую это во зло?..

Пока Бескемпир сидел оглушенный, стараясь примениться к новому своему положению и примириться с ним, толпа вновь ахнула. Шерубай выставил на ковер серебряное седло с серебряными уздечками, а рядом разложил громадный шитый

серебром чепрак погибшего кастрата. В центре нагрудника и на подхвостнике с кистями, рассыпая крупные красные искры, горели огнем рубины. Видать, суеверный старик решил избавиться на всякий случай от седла погибшего коня, чтобы не искушать судьбу – ни свою, ни своих сыновей.

– Я табунщик. С меня довольно курыка-лассо, – сказал он. Кого же он осчастливит своим царским подарком? – Седло – украшение коня. Но такое седло... Лишь один конь достоин его – саврасый иноходец. Асхат, родной, я знаю, ты к вещам равнодушен, но это седло должно украшать твоего иноходца. Постой возражать. Я хотел бы тебе дать совет. Одиночество разве что Богу пристало, а человеку... человек не должен быть один. Здесь, рядом с тобой, нет чужих – здесь твои соплеменники. Посмотри, какие женщины, какие девушки!.. Так неужели среди них нет ни одной, которая б могла тебе составить счастье?..

Слова эти Асхат пропустил мимо ушей, будто не слышал. Он лишь сказал:

– Давайте так: пусть седло остается у вас. И мой саврасый в придачу.

– Нет, родимый! Твоего саврасого я не возьму. Мне нужен приплод от него.

Старик встал, давая понять: поговорили – и хватит. Довольны вы – доволен я, а недовольны – тоже на здоровье, никто никого не неволит. Он круто повернулся и пошел к средней юрте, уже без всякой помощи, и в его прихрамывающей походке был вызов. А горевшее огнем серебряное седло с красными камнями распласталось на узорчатом красном ковре, как сова, накрывшая зайца, и было то седло еще надменнее, чем Шер-ага. На что уж Асеке не робкого десятка, а не хватило у него духу вот так вот запросто схватить ярко-красный сполох на ковре и унести по праву хозяина. Особенно смущал его большой красный камень спереди седла, он вспыхивал под лучом уже вечеряющего солнца и походил на горящий глаз филина. Но, оглянувшись по сторонам, Асеке успокоился. Взял домбру из рук жеманной молодки Асыл, готовой залезть Сигату чуть ли не под мышку.

Домбра оказалась приличной, разве что подпорчена немного, как стригунок от непосильных гонок. Еще бы! По ней молотили сегодня почем зря, подлаживаясь под шальной ритм частушек. Для разминки пальцев он долго мучил и себя, и две струны, и грубый гриф. Со стороны могло казаться, что он набивает себе цену, пренебрегая всеми, кто ухо наострил, чтобы его послушать. А он, незаметно для несведущих два раза проиграв «Косбасар» Абди, вернул домбру хозяину. Но незаметно это было для профанов, а Шерубай буквально утолил жажду слуха, мелодия тоской вонзилась в сердце, и третьего повтора он бы не вынес, но кюйши, как бы выполняя желание старика, прервал игру. Шерубай, задрал кошмы юрты, лежал на спине, и хоть глаза его обращены были к тундыку, но макушкой, как локатором, следил он за Асеке.

– Что – не понравилась домбра? – спросил Сигат.

– Почему же, хорошая домбра. Похожа на свою хозяйку.

Кто знает, как восприняла комплимент хозяйка домбры, но пронизательный серэ отстранился от молодки, которая млела, ластясь к нему словно кошка. И тут очень кстати, отвлекая внимание от особы Сигата, какой-то простофиля громогласно потребовал от Асеке:

– А теперь спой нам то, что играл.

«В рот тебе дышло! – оскорбился Шерубай. – Неужто дух Саймака и Шерлибая¹ навек покинул эти края? Нет, вырождается народ...»

¹ Абди, Саймак, Шерлибай – народные казахские композиторы-импровизаторы.

Он смотрел на красные засаленные лица, отупевшие от еды и питья, на красные помятые камзолы, на перья филина, нежнейшие, легчайшие перья, они прилеплены к макушкам грубых неотесанных фигур, которым все одно – что рокотание гортанное домбры, что рык железной бадьи репродуктора, и чтобы хоть как-то прикрыть оголившийся зад того круглого идиота, который потребовал спеть то, что спеть невозможно, Сигат спросил:

– Асеке, не правда ли, из этих молодых людей можно собрать целый оркестр? Сказать, что все талантливы, не скажешь, но и сказать, что все глухи, как камни, язык не повернется.

– Я думаю, нам бы хватило одного оркестра имени Курмангазы. Но он стал пороситься как свиноматка. Боюсь, для каждой юрты скоро понадобится свой дирижер. Не будем слишком строги. Домбра не только забава и развлечение, но и утешение для души. А кюй, Саке, не только для слуха, но и для сердца.

– И то правда, – оживился Сигат. – Сейчас даже для хороших домбристов важнее не мастерство исполнения, а работа на публику. Чтобы сорвать аплодисменты, они готовы на ушах стоять. Какая уж там музыка...

Так они, подойдя с двух сторон, осветили проблему, дуэтом завершив колядку. И успокоились, довольные друг другом, не заметив, что стерли в порошок других, не столь искушенных в практике и теории. И на площадку – ею служил ковер, постланный посередине между семи казанов, – никто уже не вышел им ни с домброй, ни с сырпай-гармошкой. Даже Асыл – она хоть изредка, а напевала немудреные песни современных горе-авторов, даже Асыл, после того как Сигат отодвинулся от нее, сидела, будто замороженная, жалея, что пришла сюда. И Бекет, который не раз угощался у бедной молодки, и Асхат, который взял из ее рук вполне приличную домбру, но так неосторожно отозвался о хозяйке, оба они старались развлечь ее и отвлечь от мрачных мыслей, но все их ухищрения были напрасны. Ее душа, только что опьяненная простором и зыбкой возможностью счастья, только что гулявшая беспечно по джайляу, ее душа опять вернулась к серым будням, к убогому очагу и беспросветной женской доле. Пришла тревога за ребенка, оставленного под присмотром немощной старухи, вспомнился муж непутевый... Не было в жизни ее ни теплых слов, ни жарких поцелуев, ни сумасшедших объятий единственных ласковых рук. Нет, ее не страшили седые виски многоопытного серэ, ее страшили ухмылки людей, их жадные и похотливые взгляды. Все, все это чувствовал серэ, но не пришел ей на помощь. Мол, надо было раньше думать! Раз ты стесняешься глаз людских, зачем стала липнуть прилюдно? Могла бы потерпеть и выбрать место поудобнее, чтобы добиться моей благосклонности. «Сук-кин ты сын, – думал сам о себе Асеке. – Испортил веселье. Только б самому покрасоваться. Ну почему, когда нужно что-то сломать, растоптать, уничтожить, ты тут как тут – ты готов, ты всегда начеку!...»

Мишель работал будто на конвейере: обчистив один дастархан, перебирался к другому. Рубал все подряд, что попадало под руку. Вообще-то он ожидал горячее, когда его достанут из казана. Но ведь не доставали! А вдруг не достанут?! У каждого была своя печаль, своя забота. Жамиля поймала холодный пристальный взгляд Асеке, долбанула мужа по затылку. Он поперхнулся, замер на минуту, а потом, как бы наверстывая упущенное, принялся крушить с удвоенной энергией. Сигат вдруг заметил, что у людей слюни текут не от песен и кюев, а от того, как трескает Мишель, хотел было исправить оплошность, подать сигнал, чтоб раз-

носили горячее, но разносчики в самый раз устремились к казанам, где томилось нежное мясо стригунка.

...Людская лава, которая днем взбаламутила всю эту плоскую равнину, уже одолевала перевал. Одна из юрт, впопыхах до конца не разобранный да так и погруженный на ЗИЛ, громыхая шаныраком, хлопая прокопченным тундыком, догоняла удаляющийся поток. Богатые, если верить сводкам, а в действительности нищие колхозы и совхозы, хотя и державшие по шестьдесят тысяч овец, но никогда не ставившие шестистворчатой юрты, опять себя урезали и вместо двух праздников – летом на джайляу и осенью в местах зимовок, отделались одним – кондовым слетом скотоводов. Равнина Кузгынды, где люди появлялись лишь раз в году, опять опустела. Как сказал поэт: «Мимолетное счастье, а потом снова – грусть...». А грустно было еще от того, что почести, оказанные животноводам, все вместе взятые, оказались сущей чепухой по сравнению с теми подарками, какие бросил к ногам трех людей старик Шерубай. «Что за невиданная щедрость? – недоумевал Сигат. – С чего бы это мой старший брат стал таким благодетелем?» Сигат подступался к этой загадке с одной стороны, с другой, но отгадки не находил, и наиболее вразумительным объяснением было то, пожалуй, что стареет Шерубай, становится чувствительным, сентиментальным. Прошло уже пятнадцать лет с тех пор, как Шерубай, у которого хлебосольства не отнимешь, равно как и язвительности, и гонора, и доброты по отношению к чужим, но не к близким, здесь он сама строгость – прошло пятнадцать лет, как он поселился поближе к Сигату.

В приоткрытые створки средней юрты Сигат видел затылок старшего брата. Неожиданно ему, что ли? Сигат стал следить за выражением лица Асем, она крутилась вокруг старика, ухаживая за ним и ублажая, но даже тень тревоги или огорчения не набегала на ее лицо. И он невольно засмотрелся на Асем. Какая сноровка и сколько энергии! Сумеет отбрыкнуть, дать отпор, если надо, сумеет и приветить. Все восхищались ею. Она была вдвое моложе Шерубая, а ведь сумела стать ему считай что ровней. И к мужу внимательна, и с людьми обходительна, и в хозяйстве у нее полный порядок, и в руках все спорится. Даже огонь в очаге горит веселее, чем у соседней. И хоть она не мать-героиня, но четырех батыров одного за другим родила, не давая себе передышки, а это в наше время кое-что да значит. И не ломака, не притворщица, как некоторые нынешние снохи. Чего уж там! И дай-то Бог!.. Сигат успокоился. Ну уросит немного старший брат, ото всех отвернулся, затылок выставил на обозрение. Так это от гордости за Асем – от того, что рядом с ним такая краля.

И, наклонившись к Бекету, Сигат шепнул:

– Пока не стемнело, принеси курай.

А это еще что такое? Бекет растерянно уставился на серэ. Асеке подивился Бекету: надо же быть таким нелюбопытным, сколько лет прожил в тайге, а до сих пор не знает, что здешние края – родина свирели. Асеке это знал, но свирели ни разу не слышал. То есть играли на свирели многие, но играли – не то слово, точнее сказать, мучили тростинку несчастную. Один из этих мучителей сволочуга Ситан, глаза бы не глядели и уши не слышали, как он играет. Тоже вроде этих бездарных домбристов, они кюй превращают в расхожую песню, а песню – черт знает во что!.. Когда Сигат заикнулся о курае, Асеке оглядел всех вокруг, но не нашел никого, чьи губы и пальцы могли бы коснуться свирели... А главный лесничий так и сидел пень пнем, не в силах смекнуть, чего же от него требуется.

Сигат тоже помалкивал, он не привык впрягать заново в телегу другого коня, если одного уже поставил под оглоблю. А надо на лету ловить его распоряжения, угадывать их смысл!..

– Пошли кого-нибудь вон в те болота, – шепнул Асеке Бекету. – Да только послать надо человека, который понимает, что к чему. Во-первых, толстый тростник не годится. Во-вторых, нужна цельная тростинка, без узлов и сердцевины. И не больше мизинца.

С наступлением сумерек замерцали, затеплились костры, они приподняли темно-синее небо Кузгынды, свели на нет тусклый свет ламп от движка. С наступлением сумерек люди стали раскованней, веселее, никто не боялся слово сказать невпопад, никто не боялся песню затянуть дурниной, потому как сумерки укроют тебя от придирчивых глаз, и весь этот дуролом, замешанный на шутках, песнях, плясках и бестолковой возне, был людям полезней и притягательней, чем даже угощение обильное из трех казанов. Когда подавали на подносе голову жеребенка, Шерубай все же вышел к дастархану, таща за собой подушку и сопровождаемый верной токал, что несла за ним следом одеяла. Отведав, может, не самый лакомый, но самый почетный кусочек, он не сбежал из-за дастархана, а как бы задремал, прикрывшись от ветра, дувшего в спину, но одеялом, нет, а тем, что куда теплее любого одеяла, – бедрами своей токал, ее животом, лобком, ее теплой грудью. Асеке под сурдинку пощипывал струны домбры, играя вперемешку Тока с Таттимбетом, а Таттимбета с Сугуром, то были ненавязчивые вариации в старинном духе. Старик полусидел, смежив веки, лишь два-три раза его зеленые с белым ободком глаза, затуманенные мелодией и дремой, глянули на Асеке. Тот взгляд казался безразличным и даже холодным, он вроде бы не следовал за чувствами кюйши. Но свержчутье подсказывало Асеке, что у него здесь один-единственный, причем редко встречающийся слушатель. А чуткое ухо старика и вправду уловило, что стон тоскливый на верхних ладах привнесен, но Шерубай понимал, что исполнитель не фальшивил, и, попросив прощения у трех великанов, он оставил на совести домбриста все эти аппликации и отклонения от оригинала, он оставил на совести домбриста и звучание, и интерпретацию древней мелодии. Кюй истаял, замер, растворился в ночи, а эти двое, домбрист и слушатель домбры, все еще сидели в опьянении, смакуя тихий умолкнувший звук.

– Шер-ага, люди ждут ответного жеста аула, – голос Сигата вернул их к очагу.

Сигат держал по пять тростинок в каждой руке. Уж так заведено: играющий на свирели исполняет девять кюев, настраивая себя, и лишь последний, десятый кюй он дарит слушателям. Но старик даже не пошевелинулся в ответ. Рысьи глаза его потухли, там даже блуждающего огонечка не было.

– Разве могут охрипшие легкие осилить свирель? Все это в прошлом, в прошлом. Зачем его ворошить? – он смотрел на Сигата с неприязнью.

– Что ж, если боль, что не давала нам покоя лет с семи, в тебе, семидесятилетнем, заглохла, то в самом деле – ворошить не надо, – Сигат не хотел уступать.

То, что старика смущала не слабость легких, а покалеченная рука, Асеке узнал, лишь когда тот взялся за свирель. Все, кроме Сигата, впервые видели этот старый синий шрам, прошедший по суставу чуть выше запястья, он иссушил ладонь, стянул сухожилия, не давал пальцам путем разогнуться. Скрюченные как когти беркута, пальцы начали усыхать, и уже вместо мизинца и указательного торчали сине-зеленые культы. Даже Бескемпир с Беккетом, казалось бы, давно уже знали

старика, и знали близко, но и для них это было неожиданностью. А когда Шерубай, троекратно промыв свирели в родниковой воде, опробовал их, трижды дунул, все невольно отвели глаза в сторону. Шер-ага грозно посмотрел на свою жену, и ее как бы спрашивая: «Что, и ты меня впервые видишь?». Асем тут же метнулась в юрту, принесла пиалу с красной каймой, подала мужу в правую руку. И пока она не уселась, прижавшись вплотную к нему теплым животом, согревающим его со спины, старик сидел, не двигаясь, не снимая с коленей своих искалеченных рук, ни на кого не глядя. И даже когда он одним махом опрокинул в себя пиалу водки, лицо его оставалось закаменевшим, без признаков жизни. И лишь когда на лбу проступила испарина, он протянул руку к свирели. Причем, не здоровую руку, а из вредности своей и строптивости – покалеченную.

Когда же застонала душа свирели, Асхат понял, что она в плену у дьявола, что печаль ее и скорбь безмерны, что человек ей не в силах помочь. В горле стоял комок, и сердце замирало в сострадании. А хрупкая мелодия «Сары озен» и «Горький напев Айрауыка», как лунные лучи, струились в небо, вознося робкую жалобу звездам и Богу. Асеке из последних сил сдерживал слезы, пальцы его слепо шарили струны домбры, беззвучно касались ладов, невольно следуя за мелодией. И впитывая всем существом своим невыносимые стоны и вздохи свирели, он понял, что такое настоящий автор восемнадцатого века, не адаптированный под современность, не подправленный нашей куцей душой. И он пообещал себе никогда больше не выступать в соавторстве с великими, а доверчиво идти за ними.

Шерубай одним взмахом руки выбросил свирель в огонь. Он тяжело дышал, и казалось, в груди работают кузнечные меха. Мелодия была так хрупка и беспомощна, она давно уже растаяла в небе, а он никак не мог унять дыхание. На висках вздулись жилы, уши пунцово алели, лицо так и полыхало жаром. Зеленоватые глаза с белой старческой окаемкой, как в минуту гнева, налились кровью. Он был похож на волка, попавшего в капкан и готового отгрызть свою покалеченную лапу. Он судорожно сунул руки в карманы бешмета, встал и быстро ушел от костра, будто здесь были его позор и удивительная боль.

Продолжение следует.